

---

---

Владимир АЛЕЙНИКОВ

## КОГДА ВЕЧЕРЕЕТ

Проза поэта

...Когда вечереет, и ты закуливаешь сигарету, поругивая себя, мысленно или вслух, за привычку вредную эту и в тысячный, нет, в миллионный, наверное, раз говоришь себе, что надо бы бросить курить, пора, ну сколько же можно, хватит уже, надоело, дым сплошной, впрямь какой-то смог в доме, — надо же, снова СМОГ, никуда от него не деться, о себе он всегда напомним, кстати это или некстати, но придется, что делать мне с ним? — и тем не менее ты закуливаешь, по привычке, шелкаешь зажигалкой или подносишь спичку, резко и слишком близко, почти вплотную, к лицу — как щурятся в эту секунду глаза твои, утомленные писаниями запоем, изо дня в день, месяцами, годами, десятилетиями, бессонницами твоими, хворобами всякими нынешними, и прочими, разнообразными, приметами возрастными, а может, и не приметами, деталями, компонентами, звеньями неразрывными нескладной, но и прекрасной, удивительной жизни твоей! Им жарко, твоим глазам. От зажженного в тишине огонька, горячего пламени, кратковременного, на миг? Нет, жар этот — от извечно-го, без конца и края, горения. Ни при чем здесь вовсе курение. Это просто — рождение книг. И сколько раз так закуливаешь, думаешь ли о чем-нибудь или, может быть, ни о чем и не думаешь, так бывает, ненадолго, правда, чтоб вскорости размышлять о чем-то хорошем или так, не очень приятном, но таком, что все-таки было, никуда его не запрядешь, это было когда-то с тобой, в ту эпоху, где жили все мы, в ту эпоху, которой нет, отшумела, ушла, исчезла, потому и столько примет, компонентов, деталей, звеньев нам оставила, все вокруг только звук, только взгляд усталый, только свет, магический круг, пьешь свой чай с киммерийскими травами или, может, его не пьешь, говоришь ли с кем-нибудь или же и не думаешь говорить, но закуливаешь по новой, — хорошо бы совсем не курить.

Вот я и расскажу вам еще одну, любопытную и забавную, поучительную и печальную, таковы компоненты ее, детали, звенья, может быть, и приметы, недомолвки ее и секреты, смысл и строй музыкальный, — историю.

---

Владимир Дмитриевич Алейников — русский поэт, прозаик, переводчик, художник, родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Публикации стихов и прозы на родине начались в период перестройки. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Лауреат премии Андрея Белого, Международной отметины имени Давида Бурлюка, Бунинской премии, ряда журнальных премий. Книга «Пир» — лонг-лист премии Букера, книга «Голос и свет» — лонг-лист премии «Большая книга», книга «Гадзимас» — шорт-лист премии Дельвига и лонг-лист Бунинской премии. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крешатик», «Перформанс». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого союза. Член ПЕН-клуба. Поэт года (2009). Человек года (2010). Награжден двумя медалями и орденом. Живет в Москве и Коктебеле.

Нескончаемой осенью шестьдесят четвертого года, когда число узнаваемых первые столичных людей интересных все возрастало, мы с Губановым, взяв с собою и товарища своего, так считалось тогда, напросившегося с нами вместе пойти Кублановского, шли к подпольному, авангардному, затираемому властями, почему-то не разрешающими, с дичайшей категоричностью, исполнять его музыкальные сочинения, композитору фантастическому, говорили в кулуарах Вадиму Столяру, смотреть его знаменитую, прославленную по всей Москве, по всему Союзу, коллекцию современных, авангардных, само собою, как и музыка запрещенная, подпольная, сложная, столяровская, как и наши стихи тогдашние, замечательных, люди считали, удивительных просто картин.

Долго мы там засиживаться вовсе не собирались, уже заранее зная, что композитор Столяр — человек, между прочим, больной, то есть мозги у него, как тогда говорили, задвинутые, и вообще он, Столяр, как утверждали в богемной среде, человек с приветом, еще и с большим приветом, а посему не любит никакого лишнего шума, ненужных и бесполезных для него, творца, разговоров, предпочитая всему этому безобразию грубому, больно ранящему душу его тишину, волю, а с ней и покой.

(Тут я забегу вперед и расскажу, пожалуй, две коротенькие истории про Столяра, человека, прямо скажем, неординарного, которые я узнал от знакомых, уже впоследствии.

Вначале — история первая.

Однажды Столяр присутствовал в презираемом им в Союзе композиторов на каком-то, плановом или внеплановом, очередном, наверное, поди-ка в них разберись, если много их, даже слишком, с перебором больших, подобных, если все на одно лицо, на один манер, так точнее, и скучны до жути, ну просто хоть кричи, хоть вой, все равно, все банальны, все одинаковы, да и нынешнее, наверно, вряд ли лучше прочих, подобных, прослушивании, кого-то, а кого — не имеет значения, или, может, имеет значение, для кого-то, но не для него.

Человек воспитанный, кроткий, деликатный, интеллигентный, поначалу он просто терпел.

Морщился, но держался.

Вскоре его терпение стало трещать по швам и даже, мало-помалу, постепенно, явно лопаться.

Но Столяр, подобно стойкам древним, вернее — мученикам всех времен и народов, подобно рыцарям чести, без страха и без упрека, все равно, с достоинством редкостным, терпеливо, смиренно держался.

Держался — на сверхтерпении. На пределе уже, на грани возможностей, небеспредельных. Волю, как мог, проявлял.

Исполняемая старательно, слишком правильно, по-советски, по-партийному образцово, без сучка, без задоринки, музыка ему все менее нравилась.

Однако он, композитор, официально не признанный доселе, но, все говорили, талантливый, даже очень, а что еще надо в жизни человеку сугубо творческому, как не признания общего подлинных знатоков, понимающих, что почем, разбирающихся, что к чему, лучше всяких официальных начальников и чиновников знающих толк в современной, вне привычных канонов, музыке, все еще, вот что действительно удивительно, даже очень, вот что невероятно, вы представьте, сидел на месте.

Наконец так тошно ему стало, ну просто не выразить никакими словами этого грустного, неужели безысходного, состояния, от всего, что творилось вокруг, от всего со-

вершенно, от этого то ли сборища, то ли действия, то ли подлости и злодейства, — и от музыки, категорически не приемлемой им, помилуйте, ну какая же это музыка, так, брэнчанье, звуков набор, три аккорда, почти гитарные, два акцента, басы кошмарные, не полет, а рыночный спор, и от всеобщего, пристального, непонятого для него интереса вот к этой самой псевдомузыке скучной в зале, и от собственного терпения, да еще и от сверхтерпения, и от слишком уж затянувшегося проявления воли своей, что он в итоге не выдержал. Он встал как ни в чем не бывало со своего неудобного места и отошел, не куда-нибудь, не в сторонку, нет, сторонка здесь не годилась, надо было без промедления, тут же действовать, радикально, чем решительнее, тем лучше, — отошел напрямиком в угол.

Здесь же, в углу, он встал, с гимнастической ловкостью, на голову.

Да так и остался стоять, головой авангардной вниз, ногами простецкими вверх.

Сначала никто вокруг не обращал на него никакого, ну что за оказия, что за дикость такая, внимания.

Его просто-напросто все почему-то не замечали, да и только. В упор не видели.

Столяр, звезда авангарда, твердо решив не сдаваться, тем не менее преспокойно стоял себе на голове.

Постепенно, с большим запозданием, его, человека-йога, диссидента и протестанта, люди начали замечать.

Все больше голов поворачивалось в зале — в сторону Столяра. Некоторые особенно любопытные даже начали приподниматься рывками со своих насиженных мест, чтобы как можно лучше рассмотреть, что же там такое, в углу, говорят, происходит.

Некоторые чрезмерно сердобольные, добрые дамы высказывали догадки, что, может быть, человеку, в углу стоящему, плохо, что ему немедленно требуется помощь, и даже срочная, медицинская, видимо, помощь, прямо сейчас, немедленно.

Некоторые сердитые граждане, горячась, обзывали его хулиганом.

Столяр слышал все это продолжал стоять в углу своем, на голове.

И вот уже музыканты, играющие на сцене, принялись один за другим, любопытствуя, приподниматься и смотреть изумленно в угол, где стоял, к потолку ногами, упираясь в пол головой, перевернутым столпником Столяр.

И вот уже некий скрипач, исполняющий сложный пассаж, не удержавшись, вытянул шею, да подлиннее, чтоб разглядеть получше субъекта, действительно странного, стоявшего на голове в темноватом дальнем углу, и скрипка негаданно выскользнула у него, зеваки невольного, из-под выбритого с утра, полноватого подбородка, и смычок, мгновенно скользнув кривовато и вкось по струнам, из инструмента извлек непотребный какой-то визг вместо желанного звука, и на сцене все рассмеялись.

И вот уже вокруг Столяра зароилась и собралась внушительная толпа обеспокоенных граждан:

— Что с ним?

— Кто он? Откуда?

— Почему во время концерта стоит он на голове?

— Как дошел он до жизни такой?

Все, решительно все обратили на него — наконец-то! — внимание.

И он своего добился.

Прослушивание, нарушенное Столяром, прекратилось.

И тогда он медленно встал с головы утомленной на ноги — и, торжествуя, с видом победителя, шагом размеренным шествуя вдоль рядов кресел к двери (открытой предусмотрительно в шоке пребывающей администрации), невозмутимо, с достоинством, спокойно покинул зал.

Вслед за ней — вторая история.

Однажды Столяр сидел в зале консерватории на концерте. Не бог весть какой был концерт, но все же приемлемый.

Сидел, как все люди вокруг, спокойно. Музыку слушал.

И все бы тихо да мирно сладилось, и ничего бы не было необычайного, все бы, глядишь, и минуло, все бы и обошлось, да была здесь одна загвоздка.

Музыка-то была хорошая. Точно. И слушать бы ее да слушать с немалым, что приятно всегда, удовольствием и с пользой для себя.

Но все время, увы, раздражала внимавшего музыке Столяра идиотская, да и только, безобразная просто лысина сидевшего впереди него нарядного толстяка.

Все лысины вроде как лысины, а эта — нет, не такая, как у всех, не такая, и точка.

Во-первых, большая. Больше, чем у Ленина, у вождя мирового пролетариата. Больше, чем у всех, вместе взятых, старых членов Политбюро.

Во-вторых, какая-то пегая, вся в нездоровых пятнах.

В-третьих, шишка на ней, под кожей, здоровенная, с половину боксерского кулака.

В-четвертых, потная слишком, и воняет ведь от нее просто невыносимо.

И в-пятых, зеркальная, ишь ты, ну прямо как отшлифованная, и все огни отражаются в ней, как в кривом зеркале, и люстра вся отражается, и потолок, и портреты композиторов, сплошь великих, и все оптом зрители в зале, и вот это уж, согласитесь, просто невыносимо.

Куда же это годится, если такая лысина от музыки отвлекает слушателя, а потом и задуматься заставляет, о многом, о чем угодно, и прежде всего, поймите и согласитесь, о том, что бывают ведь, вы подумайте, такие на свете лысины.

Вредная лысина. Подлая.

Враждебная лысина. Злостная.

Нехорошая лысина. Гадкая.

И с ней как-то надо бороться.

Столяр терпел, терпел, — но вот его прорвало.

Как сказали бы вы сейчас, достала его чужая, возмутительно глупая лысина.

Спокойно и просто, как в старом, знаменитом цыганском романсе, поднялся тогда композитор авангардный Вадим Столяр со своего места.

Выломал спинку переднего кресла, того, на котором сидел, ничего не ведая, нарядный лысый толстяк.

Поднял Столяр запросто выломанную спинку кресла над удалой своей головой авангардной — и с силой, так, что грохот прошел по залу, отозвавшись эхом поодаль, с удовольствием явным шарахнул толстяка по противной лысине.

Спинка кресла вмиг разлетелась на бесчисленные куски.

Лысина отвратительная никаких почему-то трещин, даже крохотных, не дала.

Но зато ничего не успевший сообразить, застигнутый врасплох, в боевом наскоке, и никаких защитных мер, само собой, не принявший, потный нарядный толстяк рухнул с грохотом вниз.

И отключился. Надолго.

Все в зале оцепенели.

Никто не сдвинулся с места.

Столяр же преспокойно направился прямо к двери.

Никто его не задерживал.

У двери он оглянулся и учтиво сказал музыкантам:

— Продолжайте играть, пожалуйста!

И как ни в чем не бывало исчез, легко и бесшумно, за распахнутой дверью, в фойе.

Когда не все, разумеется, лишь некоторые, отважные, из партийцев, энтузиасты, выйдя из оцепенелого состояния, скопом бросились вслед за ним, ушедшим, в погоню, то ни в пустом фойе, ни в раздевалке, нигде, никого они не нашли.

Вроде и не было — так ли? — дерзновенного возмутителя общественного спокойствия.

Только легкий, как сон, ветерок, странноватый здесь, в консерватории, прошел, промелькнул, промчался, прошелестел мимо них, шумных энтузиастов, — да и затих поодаль.

Что это было? — Дух? Призрак? — Да кто его знает!..

Вот какие бывали когда-то, в дни минувшие, отшумевшие золотистой листвой, но сумевшие, где-то в памяти продремав несколько десятилетий, вспомниться, чтоб остаться в книге моей, истории.

Вот какая была эпоха.

Полустраха и полувздоха.

Полусмеха и полуплача.

Гостья редкая в ней — удача.

Горький привкус в ней, красный колер...

Вот какой человек Столяр.)

Я знал, что он получает пенсию, по болезни, по шизофрении, но, в общем, относительно тих, спокоен.

Всем ведомо было давно, что есть у него прекрасная коллекция, из наилучших в Москве, современных картин.

И кого же там только не было из наших неофициальных, но известных в богеме, художников!

И прежде всего, конечно, — Ворошилов, Яковлев, Зверев, Пятницкий, Краснопевцев, Курочкин, Афанасьев.

И еще — понемногу — многие.

Как сумел непрактичный Столяр собрать такую коллекцию — оставалось для всех загадкой.

Однако же — взял да сумел.

С некоторыми художниками он дружил, и они порой охотно, без просьб излишних, отдавали ему работы, просто так, без всяких там денег, неуместных и невозможных, по причине отсутствия их у художников и собирателя, подвижника, между прочим, обладавшего редким чутьем на искусство, чтоб находились работы эти отменные у него, хранителя их, чтобы люди, туда приходящие, получили возможность реальную видеть, когда им захочется, эти произведения.

И люди, любители живописи, новейшей, свежайшей, к Столяру действительно приходили, причем охотнейшим образом, если такая возможность хоть изредка предоставлялась, если Столяр звал их к себе, и там, в квартире-музее, знакомились обстоятельно с дорогим их сердцам искусством.

Вот и мы втроем с удовольствием наконец-то впервые познакомились со столяровской коллекцией.

Ворошилов был здесь периода раннего, в основном портреты его и пейзажи, еще несколько романтические, но в них уже назревало удивительное обобщение, в некоторых вещах угадывалась уже та его великолепная полифония, которая впоследствии столь широко и мощно столь прозвучит в сериях темпер второй половины шестидесятых и крупных, волшебных работах семидесятых годов.

Яковлев был, разумеется, тоже чудесен — привычные для него гуаши — цветы, неизъяснимо прекрасные, по-детски наивные, чистые, не по-взрослому, а по-космиче-

ски, не скажешь иначе, трагические, но были еще и портреты, женские и мужские, натюрморты, пейзажи, абстракции.

Замечательным оказался Пятницкий, графика, смелая, сильная, одновременно страшноватая и ясновидческая, и живопись, не такая уж обильная у него, а здесь были холсты, да какие!

Хорош был и Краснопевцев — его натюрморты, камерные, спокойные, тихо живущие в мире своем, в себе.

И Зверев был здесь отменным — виртуознейшие, раскованные, свободные, дальше уж некуда, звонкие акварели!

Да и вещи прочих художников оказались весьма интересными.

Поразила меня и дивная икона, причем на клеенке, украинская, привезенная кем-то из глухоманного, толком еще не изведенного до сей поры Закарпатья.

Композитор Столяр, герой всей богеме известных легенд, оказался еще молодым человеком, среднего роста, чуть пониже, пожалуй, с короткой стрижкой, темноволосым, в очках тяжелых, с большими диоптриями, с лицом серовато-бледным, болезненно-одутловатым, как и у всех, мне известных, с виду-то, вроде, нормальных, но нервно-больных людей.

Был он тих и приветлив с нами.

Жил композитор в квартире угловой, в полубашенке дома, расположенного в одном из нескольких переулков близ Никитских ворот.

Найти этот дом странноватый, побывав здесь хотя бы однажды, было довольно просто.

(В середине семидесятых в доме, стоящем как-то наискосок от столяровского, в этом же переулке, неожиданно поселился перебраться решивший в Москву из родного, быстро пустующего по причине отъездов сплошных всех богемных друзей в эмиграцию и, пореже, в столицу, печального, беспросветного, в общем-то, Питера, Алексей Хвостенко, художник авангардный, поэт известный, автор и исполнитель известных, широко и давно, в богемных и каких-то прочих кругах, по-своему замечательных, выразительных, ярких песен — таких, например, как «Над небом голубым есть город золотой...» (впоследствии беспардонно присвоенной Гребенщиковым\*, причем на пластинках вышедших и кассетах всем сообщалось, что слова у песни народные, чем Леша очень гордился, ну а музыка — старая, лютневая), «Хочу лежать с любимой рядом...», «Арландина», «Завтра потоп», «Милая моя...» и прочих.

Замечательный парень, красавец, похлеще Алена Делона, душа компаний, которого звали все просто Хвост, Леша стал здесь жить со своей новой женой Алисой.

Он потом перебрался в Париж, но вначале, в семидесятых, ему позарез нужна была прежде всего Москва.

Была квартира столичная коммунальной, густо весьма населенной. У Леша была в ней комната, дверь в которую сроду не запиралась.

В комнате, на полу, стояли простые полки с очень хорошей коллекцией пластинок, довольно редких, в основном классической музыки.

Висели на стенах картины. Было некоторое количество хаотически собранных книг. Гитара любимая Лешина приют обрела в уголке. Занимала пространство изрядное широкая, низкая, старая, продавленная тахта.

Иногда, от случая к случаю, обычно под настроение, заходил я к Леше — погреться, повидаться, поговорить.

\* Признан Минюстом России иностранным агентом.

Однажды, в семидесятых, бездомничая, намаявшись, зашел я сюда, чтобы просто хоть немного здесь отдышаться, успокоиться, пусть ненадолго, и, возможно, воспрянуть душой.

Хвоста — соседи сказали — дома давно уже не было.

Поскольку дверь, это знал я, всегда держалась открытой, зашел я в хвостовскую комнату и стал терпеливо в ней ждать загулявших где-то хозяев.

Ждал, ждал. Никого, ни Хвоста, ни Алисы хвостовской, все не было.

Донельзя усталый, я прилег на тахту с краешку и незаметно уснул.

Разбудил меня заглянувший к Хвосту по дороге домой, на Арбат свой любимый, Леша Паустовский. Без лишних слов он достал две бутылки портвейна и предложил мне с ним выпить.

Мы выпили, каждый — из горлышка, дешевый этот портвейн.

Поговорили немного.

Леша начал курить анашу.

Я курил свою крепкую «Приму».

Вечерело. Я понимал, что пора мне уже уходить.

Попрощались. И я — ушел.

А куда — вам не все равно ли?

Разбираться не надо в боли.

Путь был — долог, и век — тяжел...

Паустовский Леша был молод. И талантлив, по-настоящему.

Сын Константина Георгиевича Паустовского, с детских лет еще в Тарусе, где у писателя был дом, он общался с нашими художниками, тогда хорошо в богеме известными, — Штейнбергами, в ту пору обитавшими тоже в Тарусе, с постоянно туда приезжавшими Плавинским, Зверевым, Вулохом, Воробьевым и прочими звездами тогдашними, крепко пьющими, но талантливыми людьми.

Насмотревшись на всю эту странную, колоритную, пеструю публику, Леша и сам, наивно и страстно, художником стать с детства мечтал. И стал им.

Он — трудился. Он — совершенствовался.

Работы его со временем становились все более сильными.

Он уже выставлялся, его заметили, оценили.

Крепкий с виду, очкастый, усатый, отзывчивый, добрый парень, с украинской и польской кровью, как-никак — потомок прямой гетмана Сагайдачного, славного предводителя вольницы запорожской, он верен был дружбам своим и прекрасно ладил с людьми.

Одна была только досада, нет, просто беда: наркотики.

Но может быть, он еще не был, в силу возраста своего молодого, разрушен ими.

И вполне вероятно, сумел бы с этим злом навсегда завязать.

И вот однажды, напившись вусмерть вместе с Алисой, миловидной хвостовской женой, решил почему-то Леша Паустовский свести счеты с жизнью.

И Алиса, будучи пьяной, тоже выразила желание составить ему компанию. Наверно, из солидарности.

Нажрались они оба каких-то колес, убойных таблеток.

И легли на тахту единственную, вместе, рядышком, помирать.

Лежали, долго лежали.

Конца со смирением ждали.

И таблетки убойные все-таки со временем начали действовать.

В замедленном темпе, но верно, с неизбежностью ошеломительной, уплывал Паустовский Леша вместе с Алисой, хвостовской кайфовой женой, в никуда.

И тогда, совершенно случайно, заглянул в открытую дверь коммунальной хвостовской комнаты кто-то из любопытных соседей, или кто-то из многочисленных приятелей по выпивонам, или кто-то из верных друзей.

Бросились к телефону.

Вызвали сразу врачей.

Алису хвостовскую — чудом, но все-таки откачали.

Успели спасти. Жива.

Леша же Паустовский — умер. Не откачали.

Не успели его спасти. Не смогли. Алкоголь да колеса...

Слишком доза была велика.

И остались — печаль да тоска.

Жаль его. Славный был парень.

Многое мог бы сделать в искусстве, стать крупным художником.

Но что же теперь об этом, грустя о былом, говорить!..)

А название у переулка, где заглохнуть могла прогулка, было — холодом жутковатым, снегом сбивчивым ноздреватым, чем-то призрачно-замогильным, что ли, слишком уж изобильным в наважденьях своих, наглежащим, чушью, нечистью, может, веющим, леденящую пустоту, твердотелую мерзлоту, всякой нежитью, тьмой бесовской, мглой болотной, — Мерзляковский.

Вернусь, однако же, к Столяру.

Мы, судя по чуть заторможенной, но хорошей его реакции на присутствие наше в квартире, на добрые наши слова, обо все понемногу, но с толком, в том числе и о нем самом, ему, похоже, понравились.

Вели мы себя пристойно.

По достоинству, как и следует, оценили его коллекцию.

К тому же мы были поэтами.

А Столяр любил поэзию. И даже слышал уже стихи — и мои, и губановские.

Он, помедлив слегка, пригласил нас навестить его как-нибудь снова.

Как уж сложится. Под настроение.

В день любой. Когда захотим.

И лучше всего — поскорее.

Мы, конечно, пообещали, что придем к нему вскоре вновь.

И пришли мы к нему. С вином.

Хотя и прекрасно знали, что Столяр совсем не пьет.

И опять почему-то с нами напросился прийти Кублановский.

Мы открыли бутылки, выпили, понемногу, по кругу, вина.

И Столяр, что удивительно, тоже выпил с нами немного.

И пришел нежданно в хорошее расположение духа.

Тогда мы, переглянувшись, попросили его сыграть нам что-нибудь свое, авангардное, что угодно, что пожелает, — и он согласился, надо же, исполнить свои сочинения.

Чуть ли не всю, не из маленьких, довольно просторную комнату, в которой мы находились, занимал огромный, сверкающий лаком, стоящий мамонтом или же динозавром на своих ногах исполинских, черный концертный рояль.

Стены комнаты были густо, без малейших признаков стройной, во всех деталях старательно продуманной экспозиции, вплотную, одна к одной, рядами неровными, ярусами, увешаны или украшены замечательными картинами.

Картины — холсты, картоны — стояли везде: на полу, вдоль стен и, само собою, по углам, вертикально поставленные и лежащие горизонтально, плашмя, высокими стопками, внушительными шеренгами, целыми штабелями.

Рядом с ними лежали, пылясь, и стояли, подобно колоннам, античным или ампирическим, свернутые в рулоны бесчисленные работы, написанные на бумаге.

Больше в комнате ничего, ничегошеньки просто, не было.

Никакой совершенно мебели.

Ни шкафов, ни стола, ни единого, пусть и шаткого, старого, стула.

Кроме одной-единственной, круглой, черной, вращающейся, поднимающейся, опускающейся, вверх ли, вниз ли, как пожелает человек, владеющий ею, с ней умеющий обращаться, с нею ладающий, табуретки, стоявшей перед роялем.

Кое-как мы втроем устроились, примостились, как получилось, на полу паркетном. Настроились авангардную музыку слушать.

Авангардную! Не банальную.

Очень может быть — эпохальную.

Современную. Вне канонов.

Нет нигде для нее законов.

Нет указов. И рамок нет.

Есть — звучанье. И — в окнах свет.

Столяр легко пододвинул единственную свою круглую табуретку, вначале к себе, а потом от себя, поближе к роялю. Привычным, точным движением открыл глуховато скрипнувшую, обнажившую клавиши крышку.

Взмахнул широко, свободно, словно крыльями, сразу обеими, вдруг обретшими легкость и гибкость удивительную руками.

Опустил их на клавиатуру.

И тогда уже — заиграл.

Играл он действительно здорово.

Он так досконально знал сложный свой инструмент, что тот, ну впрямь как живой, в любую секунду слушался его, и даже, казалось мне, с нескрываемым удовольствием.

Столяр сыграл, для начала, несколько небольших, броских, весьма виртуозных, элегантных, эффектных вещиц, — просто так, чтоб слегка поразмяться.

А потом — заиграл он свою знаменитую встарь симфонию.

Это было серьезное, крупное, многоплановое, многотемное, многосмысленное сочинение о том, как в далекой Венеции женщины местные — где-то в лагуне или в канале, по которому проплывают разукрашенные гондолы, или, может, в тазах, и в корытах, и в лоханях, как полагается, им виднее, венецианкам, прачкам, дамам из высшего света или, может, простым горожанкам, распеваящим звонкие песни под лазурным, чистейшим небом, на приволье, меж стен дворцовых, площадей с голубями воркующими, приоткрытых дверей, распахнутых прямо в лето блаженное окон, белых чаек, лукавых глаз, голосов, поцелуев, объятий, карнавалов, интриг, свиданий, о желанном счастье гаданий в тишине, — полощут белье.

Столяр — я это видел — испытывал, исполняя свое любимое детище, симфонию эту, прилив настоящего вдохновения.

Круглая голова его то и дело вздымалась кверху, опускалась вниз, и опять поднималась, все выше и выше, и вращалась вокруг оси, и покачивалась, как маятник.

Очки его запотели. Из-под стекол рвались на волю, вдаль, вперед, в глубину пространства, им увиденного теперь самым верным, внутренним зрением, повлажневшие, словно разросшиеся, как сверкающие шары, переполненные энергией, неизвестной, но властной глаза.

Руки его, по-птичьи, быстро, летали над клавишами.

Из нутра инструмента, звучащего непривычно для нас, вырывались хаотические рулады, бормотание, взрывы смеха, крики чьи-то, неведомо чьи, отголоски рыданий, отзвуки мелодий, напоминающих итальянские, чистых, певучих, летучих, потом раздавался рев, который сменялся стонами, которые, в свою очередь, сменялись неясными всхлипами, потом из рояля вдруг доносился к нам шум дождя, монотонный, влажный, протяжный, потом — раскатистый шелест молодой зеленой листвы, и плескалась вода — наверное, в каналах венецианских, и высыпались откуда-то мелкие острые гвоздики стаккато, и корабельными сиренами в белом тумане гудели басовые струны, и серебряными колокольчиками с ними перекликались высокие, выше возможных и невозможных выше, тоненькие, расколотые на лунные дольки тона.

Потом принялся извлекать он из инструмента послушнейшие, чистейшие, небесные, видимо, звуки, и мелодии полились, чередой, одна за другой, перепутались, перемешались, и уже пошли вариации, потом все это негаданно куда-то пропало, схлынуло, и только отдельные темы, вырываясь из ниоткуда, из глуби венецианских, патрицианских окон, а может быть, и зеркал, если не из зазеркалья, напоминали, случалось, о себе, мимоходом, и снова таяли, как в тумане.

Потом скользкие, реющие, Адриатикой праздничной веющие, вспоминать о былом умеющие и в грядущем совсем не стареющие, черно-белые, быстрые, шальные, вместе с мистикой обветшалою всех видений вдали, всех грез, всех, с шипами своими, роз, исчезая и возникая, белой пеной вблизи сверкая на волнах черноморских, клавиши под его упорными пальцами то съезжались, то разъезжались, как гондолы в узком канале, потом они горбились, вздыбливались, роптали, ворчали, бурлили.

Одной, привычной для всех музыкантов, клавиатуры Столяру было мало.

Он принялся тогда играть на крышке рояля, поднятой наискосок, вверх, черным, плавно изогнутым, к полету готовым крылом.

Он выстукивал, проходясь по ее поверхности гладкой плотно сжатыми кулаками, все возможные, вперемешку, европейские, азиатские, африканские, американские, и какие-то, на ходу сочиненные, новые ритмы.

Он разжимал кулаки — и принимался стучать по крышке рояля пальцами.

Крышка, слушаясь и повинясь, отзывалась весьма подозрительными, неизвестными ранее, сложными, деревянными вроде бы, но посвежее, лесными, кустистыми, с долгим гулом в углах, ветвистыми, вибрирующими, гуляющими в массиве дуплистом, звуками.

Потом композитор Столяр перешел, спокойно и просто, по наитию, видимо, к струнам внутри своего рояля.

Он щипал их, щипал точно так же, как хозяйки перья ощипывают у ошпаренной только что курицы.

Он дышал на них, потихоньку, и дул на них, сильно, как будто футбольный мяч надувал, — и струны ему откликались.

Он едва прикасался к ним.  
Царапал их с маху ногтями.  
Скользил по ним нежно ладонями.  
И струны все время — звучали.  
Дизгармония почему-то смешивалась с гармонией.

Струны выли и рокотали, то роптали, то хохотали, то постанывали, то ныли, то вздыхали, то говорили, струны вскрикивали и пели, струны мчались к неясной цели.

Столяр начал уже играть на боках своего рояля.

Кололит по ним кулаками — и прислушивался к тому, как загадочно, после грохота, разносилось по комнате громкое, прямо гром среди ясного неба, да и только, дрожащее эхо.

Он прыгал на эти бока, с разгону, с разбега, с разлета, и вкрадчиво, по-кошачьи, на цыпочках к ним подбирался.

Порою он даже плыл в пространстве комнаты, рядом с роялем, словно с огромным черным спасательным кругом.

Налетит на рояль, поскребет его десятью ногтями по гладким, ко всему привычным бокам — и прислушивается к чему-то.

Потрогает пальцем — и слушает.

Долбанет кулаком — и слушает.

Наконец и рояля Столяру стало, так рассудил он, мало.

Симфония знаменитая расплескивалась ручьями, растекалась бурными реками, расходилась кругами по комнате, вырывалась легко за окошко, разливалась по Мерзляковскому переулку, рвалась к бульварам, проникала в метро, в троллейбусы, в проходах телеграфных слышалась, уходила к Москве-реке, вдоль кремлевских стен разбегалась, чтобы выбежать в Подмоскovie, а потом и дальше, на запад, к италийским пределам, к Венеции, возвращалась, как бумеранг, прямо в руки серьезному Столяру, западала в память, в рояль уходила, опять выходила из рояля, вращалась волчком, попереки становилась, торчком, рассыпалась, потом собиралась воедино, звучала, старалась быть самой собой везде, к путеводной летела звезде, к утомленному солнцу тянулась, на кого-то вдали обернулась, на кого-то взглянула в упор, прекратила какой-то спор, поддержала какие-то речи, вмиг условилась с кем-то о встрече, улыбнулась, куда-то ушла, только два прошумели крыла наверху, возвратилась опять, стала громче, мощнее звучать, симфония знаменитая ширилась, разрасталась.

Композитору Столяру требовалось новое, наиновейшее, уникальное, эпохальное, просто аховое звучание.

Взгляд его, из-под бровей насупленных, из-под очков запотевших, на волю вырвался, поблуждал по углам — и скользнул по батарее, гармошку отчасти напоминающей растянутую, отопления.

И тут же, забыв о рояле, Столяр перебежал, поскорее, вприпрыжку, к ней.

Вначале он просто немножко поводил десятью ногтями по металлической, крашенной когда-то давно и поэтому облупленной, неприглядной с виду, старой, унылой, сиротливой какой-то гармошке батареи, туда-сюда.

Потом, для всех неожиданно, двинул ее ногой.

Батарея вмиг зазвучала.

Пошатнулась даже, слегка.

Тогда композитор Столяр атаковал ее обоими кулаками.

Потом, без пауз, без всяких, излишних сейчас, церемоний, стал колотить по ней ребрами жестких ладоней, будто массаж ей делал.

Потом стал ее поглаживать. Нежно, задумчиво, медленно.

Раздавались разные звуки.

Не вполне музыкальные, в общем-то.

Пусть и так. Да все-таки — звуки.

Столяра между тем вновь потянуло к роялю.

Он подошел к нему смело, по-морскому, по-капитански, словно к яхте своей, стоящей у причала, в южном порту, давно готовой к отплытию в чужие, знойные страны.

Крышка рояля казалась поднятым на высокую, крепкую, гибкую, стройную мачту воображения, тугим от ветра попутного, полотнищем всем натянутым плещущимся в лазурном, безоблачном небе парусом.

В путь! Но куда же плыть?

Вперед! В моря, в океаны.

В штормы, тайфуны, туманы.

Музыке в мире — быть!

Музыке в мире — жить.

Звучать. Побеждать — повсюду.

Музыка — счастье. Чудо.

Надо нам с ней — дружить.

Музыка стала действительно гармоничней. В ней море шумело. В ней уже ничего не гремело. В ней возник лирический тон.

Музыка стала тише. За крыши ушла и выше. Вернулась — и спряталась в ниши. До лучших, наверно, времен.

Придет ли сюда — потом?

Пришла. Заполнила дом.

Но вот композитор Столяр увидел какую-то странную, на полу, под роялем, штуковину, довольно тяжелую с виду, и решительно поднял ее.

Подкинул ее в ладони — сколько, мол, весит? — ага, прекрасно, вполне годится! — и сразу пустил ее в дело.

Штуковина эта была — тяжелой. Была — металлической.

От ударов ею, штуковиной металлической, по роялю — бедный, многострадальный, вконец измученный Столяром, терпеливый, но не настолько же, чтобы вечно терпеть и страдать ни за что ни про что, инструмент — запричитал, застонал.

Кублановский слушал игру вдохновенного Столяра, став неподвижным, немым изваянием, став сплошным, бесконечным вниманием, с устремленным на композитора, поэтическим, жарким взором, с длинным, грустным, фамильным носом, вроде компасной стрелки, нацеленным на такое-то диво, на действие грандиозное, на откровение натуральное, без булды, это факт, и ежику ясно, а ему и подавно, слушал увлеченно, с открытым ртом.

Как открыл он рот изумленно, еще в самом начале симфонии, так и сидел на полу истуканом, с разинутым ртом.

По нему видно было, насколько глубоко его поразило им услышанное впервые авангардное сочинение.

А может быть, думал поэт: вот надо же, как бывает, наконец-то присутствует он, москвич новоявленный, бывший рыбинский провинциал, из хорошей семьи, мечта-

тельный, одаренный, при исполнении новой, сверхсовременной, свержавангардной музыки, да еще и с таким комфортом, ну и ну, в домашних условиях, и композитор, смотрите-ка, так старается, прямо весь выкладывается, играя сложнейшие вещи свои, и вообще, кто бы мог подумать, это событие, и надо, надо ловить каждый буквально миг, потому что музыка эта, вполне ведь возможно, в грядущем благотворно может сказаться на его, набирающем силу и крепчающем, собственном творчестве.

Куб сидел с широко, по-рыбински, по-простецки, открытым ртом — и благоговейно слушал непривычную музыку Столяра.

Следует прямо сказать, что беспорядок этот, а конкретно — открытый Кубов, нет, разинутый Кубов рот, Столяр давно заметил.

И рот этот постепенно стал его раздражать.

Вначале он честно терпел: ведь все-таки гость, молодой поэт, как-никак, бывает и так, и этак, по-всякому.

Но рот, однажды открытый Кубом, гостем его, никак ведь не закрывался.

Скажите, ну кто это вытерпит?

И Столяр тогда — не выдержал.

Он принял нужные меры.

Продолжая играть своей левой рукой на басовых клавишах, свою сильную правую руку, с крепко зажатой в ней, весьма и весьма тяжелой, железной странной штуковиной, Столяр поднял, для всех неожиданно, как-то вмиг, высоко вверх.

Потом он цепко, по-снайперски примерился, зорко поглядывая на сидевшего там, на полу, с разинутым ртом, Кублановского.

И — с высоты немалой, со всего размаха, шархнул Куба железной, тяжелой штуковиной по башке!

Раздался резкий и гулкий, с треском, сильный такой, что стекла оконные вздрогнули, звук характерный: бум-с!

Рот у Куба мгновенно захлопнулся.

Ну прямо как на замок защелкнулся. Плотно. Наглухо.

Причем, обратите внимание, сам Куб, внимающий музыке, даже не пошевелился.

Как сидел себе на полу столбиком, подогнув ногу одну под себя, так и остался сидеть.

Поэт молодой подумал, видимо: так и надо!

Вот она, современная, авангардная музыка — в действии!

Вот она, импровизация!

Эх, услышали бы такое хоть разочек на родине, в Рыбинске!

То-то надолго хватило бы об этом потом разговоров!

Мы с Губановым, кстати, восприняли столяровскую выходку тоже как нечто нужное, само собой разумеемое.

Правда, уж очень смешно было нам все это видеть.

Леня даже не удержался, прыснул было, но, тут же заметив боковой укориженный взгляд композитора из-под запотевших, огоньком блеснувших очков, спохватился, взял себя в руки.

Окрыленный рожденным им здесь, на месте, в самом процессе исполнения, то есть в движении, как и следовало, в самом ритме вещи, непредсказуемом, допускающим вариации и фантазии разнообразные, лишь бы к теме вернуться плавно и опять ее

разветвить, расчленив, разбросать, размножить и собрать, совсем уж нежданно, нити все в единый клубок, — окрыленный рожденным им по наитью, как музыка в музыке, или, может, как сон во сне, или как ядро в скорлупе им разбитого вдруг ореха, совершенно ведь не известным никому, вот в чем дело, ранее, упоительно свежим, новым, восхитительно громким звуком, извлеченным им, композитором авангардным, из крепкой Кубовой, абсолютно не пробиваемой никакой железной шуковины и ничем вообще на свете, не старайся не прошибешь, устоявшей, удар принявшей благодарно, даже почтительно, поэтической головы, прирожденный новатор, Столяр доиграл нам свою симфонию.

Он — устал. Он очень устал.

Он так старался играть, столько сил вложил в исполнение грандиозной своей симфонии, что едва сумел встать с табуретки, повернуться к нам, поклониться и широко, по-свойски, развести в обе стороны руки — вот, мол, что это, братцы мои, за великое сочинение!..

И мы, познавшие чудо рождения редкостной музыки, горячо, взволнованно, искренне поблагодарили его.

И особенно бурно, восторженно, вновь раскрыв наконец свой рот, благодарил композитора, извлекшего из головы его фантастический, новый звук, такой, которого в мире еще вовек не бывало, — конечно же, Кублановский.

Вино, с собой принесенное, мы уже, к сожалению, допили.

Покупать что-нибудь по новой было нам просто не на что.

Посмотрели мы напоследок замечательные работы из столяровской коллекции.

Поговорили немного, так, из вежливости, о чем-то.

Потом, решившись, простились — и собрались уходить.

Спокойный Столяр в своих запотевших больших очках церемонно, с полупоклонами, попрощался в прихожей с нами.

Вот какая звучала музыка — там, в былом, посреди бесчасья.

Вот какие бывали встречи здесь, в столице. И — чудеса.

Миф? Легенда? Быль. Кто бы спорил!..

Вот какой человек Столяр.

Я не видел его после этого ни на что не похожее вечера, о котором вам рассказал с удовольствием, но и с грустью ненапрасной, несколько лет.

И только в самом конце шестидесятых, случайно, увиделся с ним, у Генриха Сапгира, на дне рождения.

Столяр, уже отравивший длинные темные волосы, в тех же очках, что и раньше были на нем, сидел, спокойно и тихо, в углу — и, присутствуя вроде на пиршестве, привычно на нем отсутствовал.

То есть был — там, внутри себя.

Потом он читал мои самиздатовские, подаренные мною Сапгиру книги, там, в углу своем, вне гульбы, с головой погрузившись в чтение, и все говорил, что давно уже хочет, нет, просто мечтает написать на стихи мои — музыку.

Я сказал ему: что ж, пиши, мол, если есть у тебя желание.

Потом он тихо, спокойно, как всегда, незаметно ушел, вовремя, в самый разгар общего шума и гвалта, звона бокалов, плеска широкой рекою льющейся водки, винных паров, хлопанья открываемых пробок, тостов, приветствий, восклицаний, здравий,

ушел от раскрасневшихся или же побледневших, как у кого, в духоте, в теснотище, лиц, от густого табачного дыма, от множества лишних слов.

Ушел — и вмиг растворился в темноте и холоде вечера столичного, где-то на склоне сурового ноября, там, неведомо где, далеко, за мерцающей гранью зеркальной, где в древней Венеции женщины полощут привычно белье и в музыке, словно в зеркале магическом, отражается нечто важное для души, новизны ощущений жаждущей, и уйти туда, навсегда, видно, лучше всего — одному.

Ну так что же? Все ли — о Столяре?

Нет, не все. Через тридцать лет после встречи с ним у Сапгира мне знакомые рассказали, что его убили. Коллекция знаменитая — расплзлась, разошлась по рукам, расплылась. Где теперь эти вещи — кто скажет? Сохранились ли музыкальные сочинения композитора? Ничего не знает никто.

Был — и нет. Вот и все — о Столяре.

Грустно? Грустно. Страшно? Пожалуй.

Ночь идет. А в Венеции женщины — все полощут, наверно, белье...

\* \* \*

...Желтизна листвы. Рыжина ее. Жухлый шорох в скверах. Тускнеющий алый прощек в кронах. Багряных тел неподвижных вороха.

Синева небес. И — свинцовость их. Темнотища в них непроглядная. Лиловатой хмари несносность. Весть и напасть. И — сердце стиха.

То-то хотелось рваться, вглубь или вдаль, куда-то, а куда — не все ли равно!

Вырваться упрямо — за грань, за черту, в заоблачье, может быть, в зазеркалье, — хотя бы за город.

Лучше — дальше. Поскольку дальше — лучше все же. Свободнее там дышишь. Зрею там — просторнее.

В электричке, легко прошившей глушизну лесов обомшелых строчкой тонкой, струной зеленой.

На живую нитку сметавшей ткань пространства. Времени клочья незаметно соединившей.

Легкой, острой иглой скользнувшей, вкось и ввысь, из яви осенней в измеренья другие, странные, с крутизною вершин желанною, с новизною их безобманною предомной, в иные миры.

За город. В Подмосковье. В область, где облачность гуще, воздух терпче и чище, нравы грубей и проще, дожди затяжные чаще, просторней окрестные роши, парков райские кущи волшебней, древние мощи холмов покруче кремлевских. В Подмосковье. Скорее. За город.

В сферу веры. В укрое надежды. В безграничное царство любви.

За кромку быта. На волю. Где покой. И счастье. Все дальше.

В поезде дальнего следования. В автобусе. На попутных грузовиках. Вперед.

Лишь бы ехать. И чутя: может сердце выдержать путь сквозь новь. Свет утешит. И Бог поможет. Нитью — к сути. Иголю — в кровь.

Лишь бы видеть. И слышать ясный звук, всей правью земной дыша. Речи — быть. И во мгле ненастной — уцелеть. Отзовись, душа!..

Та же осень. И музыка та же с нею вместе доселе. И даже, всех на свете милей и верней, долговечная лирика в ней.

(Все больше — о дорогом?)

Но можно — и о другом.

Появился на горизонте у меня в ту далекую пору некий (объект неопознанный, может быть?) молодой, стало быть, все же опознанный, для какой-нибудь цели да созданный, как следует не осознанный никем, пока что, субъект.

Вьюноша. С виду. Вроде бы.

(Погулять бы ему! На свободе бы!)

Вполне вероятно — призрак.

В нем — чего-то дурного признак.

(Призвук беды — потом).

Словом, советский фантом.

Стал он, вначале изредка, попадать, проникать в поле зрения. А потом — все чаще и чаще. Зачастил. Видно, в роль вошел. Или — в раж. Замашки-то — вражьи. Чувство меры — напрочь отсутствовало. А нахальство — всегда присутствовало. Что ни шаг — то корысть и расчет.

Румяные щеки. Вихры. Плутоватые глазки. Наглые. Заговорщицкие повадки. Но еще и повадки агента, выполняющего спецзадание. Что-то было революционное в этом шустром, везде успевающим побывать пареньке. Имитация — но чего? — в нем тоже была. Разбираться мне было некогда в этом. Да и охоты не было никакой ломать себе голову: кто он? Мне-то — не все ли равно!

Паренек был настырным, пронырливым. Шнырял по всяким тогдашним сборищам и всегда, прямо как штык, оказывался там, где народу побольше собиралось. Читают стихи где-нибудь — и он тут как тут. Вроде бы и тетрадку свою, где что-то записано, повсюду с собой таскал. Небось тоже пишет. Пусть пишет. Писать никому не вредно. Много таких по Москве шляется. Так мне думалось.

Паренек между тем делал робкие попытки со мной познакомиться. На них я не реагировал никак. Старался его просто не замечать. Не интересен вовсе. Прямо скажем, не симпатичен. Скользкий он был какой-то, липкий, как будто намыленный. Такой вот куда угодно без особых трудов проскользнет. Втиснется. Протечет. Просквозит. Пролезет. Внедрится. И лучше всего от него держаться всегда мне подальше. Так я тогда рассуждал.

Однажды, в осеннюю пору, затащил меня Коля Мишин, человек артистичный, веселый, на вечер трехстепенных советских поэтов каких-то в музее Политехническом.

И зачем я туда притащился — до сих пор, поверьте, не знаю.

Коля меня, наверное, как-то уговорил.

Я и пришел, за компанию с ним, на заведомо скучное, совершенно ненужное мне, заурядное мероприятие.

Сидим на своих местах.

В зале народу — не густо, с гулькин, всего-то, нос.

Народ в былые года прекрасно соображал, куда, кровь из носу, надо пробиться и там побывать, а куда ходить, чтоб скучать там, нет никакого смысла.

Мы же с другом Колей, в отличие от народа мудрого нашего, промахнулись, это уж точно.

И я уже горько раскаивался в том, что я нахожусь вовсе не там, где хотелось бы мне сейчас оказаться.

Вот, сержусь на себя. Терплю.

Время зря теряю, и только.

Советские третьестепенные поэты сидят на эстраде, по очереди читают, сменяя друг друга, стихи.

Скучно — до невозможности.

И вдруг происходит в зале некое шевеление.

Кто-то из публики, вслух, в открытую, смело весьма, да еще и довольно громко, выражает свое недовольство стихами советских поэтов.

Публика оживляется: дело пахнет скандалом.

Ну вот и ладошки. Будет повод повеселиться.

Смотрю — да ведь это, надо же, тот самый, розовощекий, шустрый, по всей Москве мелькающий, как заведенный, паренек, сегодня скандалит.

Вихрами трясет, своими завитушками непромытыми.

Руками обеими, сразу, быстро, как мельница, машет.

Голос дрожащий, пускающий петуха, все смелей подает.

И даже с места привстал.

Чтобы в зале все его видели.

К советским третьестепенным поэтам он обращается.

Требует ультимативно, чтобы его на эстраду выпустили поскорее, людям стихи почитать.

Советские третьестепенные поэты между собою переглядываются, не зная, как им вести себя в щекотливой такой ситуации. Совещаться тишком начинают.

А публика в зале бурлит, бушует — веселья требует.

И уже кричат отовсюду завзятые энтузиасты:

— На эстраду пустите парня! Пусть читает! Имеет право! Мы послушать его хотим!

И советские третьестепенные поэты натиску публики уступили. Подняться к ним паренька сообща пригласили.

Паренек на эстраду вышел.

Стоит, смущается, мнетя.

И щеки уже не розовые, а здорово покрасневшие.

Спрашивают его советские третьестепенные поэты, миролюбиво, вполне дружелюбно спрашивают:

— Кто вы будете? Как объявлять вас?

Паренек отвечает им робким, дрогнувшим голосом:

— Батшев.

И после мучительной паузы, невнятно и скромно:

— Владимир.

Тогда предводитель советских третьестепенных поэтов решительно всем объявляет:

— По убедительной просьбе многих собравшихся ныне в зале Политехнического любителей нашей поэзии выступает сейчас молодой поэт, Вадим, нет, Владимир, Бата...шов... Баты...шьян... Болту...шев... Как, простите? Погромче скажите. Не слышал я вашу фамилию.

— Батшев я, — говорит паренек чуть слышно. И густо краснеет.

— Молодой московский поэт Валерьян Бултышов! Прошу!

Показывает предводитель советских третьестепенных поэтов, куда пареньку на эстраде следует встать.

Сам степенно садится рядом с товарищами по профессии. Настраивается слушать приглашенного паренька.

Публика с любопытством ждет: что же будет дальше?  
Вот уж действительно случай!  
Можно сказать, повезло.  
Скука была натуральная, а теперь спектакль начинается.

Паренек, вихрами потряхивая и щеками пылая пунцовыми, неуверенно, спотыкаясь и страшась, к микрофону подходит.

Видно, делает это впервые.

И вот — начинает читать...

Он обрушил на головы слушателей длинную, и скучнейшую, и откровенно бездарную поэмищу о своем, не потерянном, поколении.

Это была такая чушь и галиматья, что публика в зале мгновенно поняла, с кем имеет дело.

Но — приходилось, пока что, ничего не попишешь, терпеть. Сами ведь подсобили пареньку на эстраду выйти.

Посему — пускай почитает.

Правдолюбцев — следует слушать.

Паренек — увлеченно читал.

Потряхивая вихрами.

Пылая щеками пунцовыми.

По-маяковски, отмахивая ритм правой рукой, со сжатым, до судороги, кулаком.

Читал — поначалу — пять громогласных, коротких минут.

Десять минут прошло.

Потом — пятнадцать минут.

И в нахлынувшем упоении грандиозным таким событием — еще бы! ведь он доносит до народа слово свое! — не замечал ни времени, все идущего да идущего, ни реакции соответственной все усиленной ропщущих слушателей.

А реакция их была, разумеется, незамедлительной.

Вначале начали в зале раздраженно гудеть. Потом — шумно переговариваться. Ну а потом уж, позже, — откровенно смеяться. Ржать.

Поэты третьестепенные советские на эстраде проявляли терпение. Сдерживались. Но вот и они, все громче, тоже дружно, стали смеяться.

И в самом деле, читаемый, с немалым пафосом, опус краснощекого паренька был прежде всего смешным.

Описательный, повествовательный, он, опус, подробнейшим образом размусливал и разжевывал зануднейшую, гражданственную, советскую, разумеется, с романтической, из революции, из гражданской войны, основой, тему поиска неустанного молодым поколением нынешним своего, достойного, места в мире нашем, где есть всегда время и место подвигам, где силы свои приложить, все абсолютно, следует для достижения цели, своей, поставленной загодя, возможно, еще во младенчестве, где человек, по Горькому, звучит и доселе гордо, где надо бороться, искать, найти, не сдаваться, где следует буржуинам любых мастей дать отпор, сокрушить их, проклятых, где самое дорогое у нашего человека — это жизнь, и прожить ее надо так, чтобы не было больно мучительно, после, потом, в грядущем, ну и так далее, — и вся эта несусвет-

ная бодяга, с пылом и с жаром, с должным рвением, как и следует читать прирожденному, видимо, трибуну и агитатору, выкрикивалась, вымучивалась, выплескивалась, выбрасывалась в зал, который, вполне понятно, от неслыханной этой чуши просто-напросто охренел.

Паренек читал двадцать минут.

Двадцать пять минут.

Целых тридцать.

Публика в зале музея недовольно, сердито бурлила.

Но паренек ее, разумеется, вовсе не слышал.

Он слышал — себя, любимого, чьими устами сейчас, по его, паренька, разумению, говорило, нет, заявляло, громогласно и убедительно, здесь, в музее Политехническом, где традиции живы чтений поэтических, страстных диспутов, лекций сенсационных, просмотров кинофильмов, различных встреч с интересными современниками, поколение молодое.

Паренек читал между тем тридцать пять бесконечных, бессмысленных, съевших время людское минут.

Мне уже и возмущаться-то не хотелось — так основательно вся эта чушь надоела.

Паренек читал сорок минут...

И тогда-то со своего законного места встал, с осознанием важной миссии, возложенной на него, без просьб и без лишних слов, наверное, телепатически, всей публикой, — Коля Мишин.

Увидев Мишина, публика почтительно и благодарно уставилась на него.

Ну вот, дождались, теперь-то, это уж точно, что-нибудь из ряда вон выходящее обязательно произойдет.

— Эй, парень! — решительно, твердо, спокойно и громко сказал Коля Мишин. — Ты, там, на эстраде!

Паренек поперхнулся, вздрогнул и немедленно замолчал.

Глупо вытаращился в зал, откуда к нему так властно доносился мишинский голос.

Щеки его налились лиловато-багровым цветом.

Руки его затряслись мелкой безудержной дрожью.

— Парень! — сказал ему, стоя во весь рост свой гвардейский, Мишин. — А ну-ка вали с эстрады! Хватит всякую чушь нести! Давай, давай уходи! Быстро! Нечего здесь тебе делать. Да и с нас всех уже достаточно. А ну, шевели поршнями! Я что сказал? Не доходит? Катись поскорее отсюда! Нечего в зале приличном бездарщину разводить! Ноги в руки — и уходи!

Публика в зале музея была так довольна, что сразу же устроила Коле овации.

Мишин принял это как должное.

Аплодируют люди — значит, считают, что заслужил.

Он свое дело — сделал.

Паренек на эстраде так растерялся, так перетрухал, что весь поджался, вихрастую голову в плечи втянул, будто бить его тотчас же будут.

А потом, действительно взяв ноги в руки, довольно ловко, мечтая лишь об одном — поскорее исчезнуть отсюда, — посрамленный, жалкий, беспомощный, из героя

воображаемого превратившийся вмиг в посмешище, осторожно, бочком, тишком, поскорее, понезаметнее, чтоб чего-нибудь нам не вышло, сполз с эстрады — и в самом деле, вы представьте себе, — исчез.

Куда он девался? Только что был ведь — и нет его здесь.  
Кто он? Фантом какой-то со стихоплетным бредом?  
Померещилось, может быть? Нет же!  
Как будто бы ветром сдуло.  
Выдуло вдруг из зала.  
Испарился. Сгинул. Пропал.

И закончился вечер поэзии.  
Был — столичный осенний вечер.  
Публика покидала старый Политехнический.  
Мы с Мишиным, снисходительно принимающим благодарность от людей, им спасенных вовремя, поскорее отсюда ушли...

Вот что было в Москве однажды.  
Факт. Упрямая вещь, как известно.  
Случай подлинный. Сущяя правда.  
Бред, оставшийся где-то в былом.

Ну а было ли продолжение у истории? — спросит читатель. Было. Не было б лучше его!..

Паренек-бултышок румяный с фамилией невразумительной опять возник на моем горизонте. Бочком, тишком проник в мое поле зрения. Материализовался.

Теперь все чаще он делал с виду робкие, но выдающие настырность, попытки поближе познакомиться и со мной, и, конечно, с моими друзьями.

И познакомился все-таки.  
Уловил подходящий момент.

Я пошел на это. Зачем? Сердцем чуял: не надо было допускать его до себя. Но незнамо зачем допустил.

Чтобы просто, после знакомства, от него поскорей отвязаться? Ну, положим, так. Утешенья не дает мне подобный вопрос.

Впрочем, ладно. Случается всякое. Ты такой-то, а я такой-то. Все. И точка. И разошлись восвояси, в разные стороны.

Существуй себе где-то там, далеко, да подальше, желательно, с осознанием знакомства этого в голове. Мне-то что до тебя?

Эх, не тут-то было! Такое началось, что я просто взвыл.

Паренек прилипчивый стал возникать повсюду, где мог я оказаться, случайно даже, и, само собой, в тех местах, где бывал я довольно часто, с завидной, наверное, накрепко с дисциплиной внутренней связанной, с расписанием неким, с графиком, слишком точным, намеченных встреч, вечеров и чтений стихов, чекистской какой-то, въедливой, назойливой постоянностью.

И всегда, первым делом, лез, из толпы, из метро, из дверей приоткрытых, из окон распахнутых, из всего, что было вблизи, вдалеке, в стороне, в округе, лез из облака, из-под земли, лез из леса, лез из тумана, лез из утра, из дня, из вечера, лез из ночи, из мглы, из мрака, лез из кожи, лез из листвы, из игольного лез ушка, из щелей, из тре-

щин, из люков канализационных, из ям и канав, из провалов, и шахт, и прорв, и пустот, лез ко мне, здороваться, чтобы видели непременно все вокруг: он со мною знаком.

Как быть? Удастся ли мне отделаться от него?

Пошлешь подальше, по-русски, по-народному, по-простому, как следует, — не поймет ведь. Подождет — и опять привяжется.

Как отшить его? Как отвадить, навсегда, чтоб и след простыл?

И откуда берутся такие наглецы? Из воздуха, что ли?

Ну прямо как мошки летом над фруктами с овощами!..

Паренек мечтал побывать у меня — хоть разочек — дома.

Булгышонку страсть как хотелось посмотреть, как живет поэт.

И ежели повезет, еще и стихи услышать.

В домашней, ни больше ни меньше, в уюте, в тепле, обстановке.

По-свойски — почти, так сказать.

И тогда — вспоминать мне странно —

Я решил его разыграть.

Получилось это — спонтанно.

В гостях у меня (все там же, на милой Автозаводской) как раз находились Аркаша Пахомов и Коля Мишин, оба — специалисты большие, по части розыгрышей, а заодно и по части всяческих приключений.

Втроем, никуда не спеша, сидели мы грустным осенним вечерком, в тишине и покое.

Беседу вели степенную.

Намеревались даже, прикинув свои возможности, поднять настроение общее, то есть выпить немного.

Прикинули эти возможности.

Кое-что с трудом наскребли.

Хватало, копейка в копейку, на три бутылки вина.

На целых три. Замечательно!

Можно будет поднять настроение.

Нас — трое. Бутылок — три.

В перспективе. Денег-то — хватит?

Вроде должно хватить.

Надо проверить — на деле.

Пахомов, с места сорвавшись, тут же сгонял в гастроном.

В ближайший. В наш. Расположенный буквально в минуте ходьбы от дома. Все местные жители были этому рады.

Рады были и мы этому обстоятельству.

Через три минуты Пахомов к нам вернулся. С тремя бутылками портвейна. Веселый, довольный. Марш-бросок завершился успешно.

Три бутылки портвейна белого встали в ряд на столе моем.

Целых три. По одной на каждого.

Это все-таки что-то да значит.

Поднимать пора настроение.

И бутылки пора открывать.

Жизнь действительно продолжается.

Настроенье — уже повышается.

Что-то свыше за нас решается.

На безденежье — наплевать!..

И раздался вдруг в коридоре телефонный громкий звонок.

Потому не в моей комнате, а в коридоре общем, что телефон был один в коммунальной квартире нашей, общий для всех жильцов.

Наверное, нынешним, некоторым, деятелям как бы времени — или, как я еще иногда называю его, междувременья — трудно такое представить, с их мобильниками обильными, пейджерами и прочими средствами сверхнадежной и поминутно, без всяких задержек и сбоев неганданных, оплачиваемой связи, но в наши, доисторические, наверное, времена, и наличие несомненное такого, для всех соседей, общего, телефона, было жизненно важным, пожалуй, и составляло даже предмет, или, может, объект, некоторой, немалой, по меркам тогдашним, гордости, — ведь, если на то пошло, у большинства московских жителей и в помине такой вот роскоши не было.

Итак, звонок телефонный раздался у нас в коридоре.

Соседки меня подозвали.

Я подошел. Взял трубку.

Звонил, разумеется, Батшев.

Надеялся на общение.

Очень уж пылко мечтал в гости ко мне попасть.

И тут я, сам толком не знаю — почему я так поступил, взял да и пригласил его, паренька-бултышонка, к себе.

Приезжай, мол. Прямо сейчас.

Продиктовал адрес.

Говорил вполне дружелюбно.

Сказал, чтобы он приезжал ко мне, сюда, через час.

В ответ я услышал, что он приехать готов даже раньше, что он способен быть здесь всего через полчаса.

Ну, тем лучше. Пусть будет так.

Тем быстрее слиняет отсюда.

Так я тогда рассуждал.

Я спокойно вернулся в комнату и сообщил Аркаше Пахомову с Колей Мишиным, что вскоре сюда, в наш рай осенний, приедет Батшев.

Пообщаться парень мечтает.

Познакомиться с нами поближе.

Счастлив очень, что я сегодня не отшил его, как и следовало поступить бы мне, проявившему непонятную доброту к суетливому, краснощекому, подозрительному пареньку, но за чем-то, за чем — не знаю, пригласил его к нам сюда.

— Как? — воскликнул тогда Коля Мишин. — Это что же — тот самый румяный паренек, неприятный, противный, которого я, на вечере в музее Политехническом, недавно, с эстрады выгнал?

Я подтвердил:

— Он самый.

Мишин спросил меня:

— На хрена он, скажи, здесь нужен?

Я ответил:

— Да я, признаться, толком и сам не знаю. Просился. В гости к поэту. Вот я его и позвал.

— Парню, хочу заметить, образовываться пора! — солидно сказал Пахомов. — Пусть приезжает. Мы его уму-разуму быстро научим.

— Такого научишь! — грустно, со вздохом, заметил Мишин. — Такие вот идиоты румяные ничему вообще научиться не могут. Жизнь сама и та ничему их, никогда, ни за что не научит.

— Ну, ты, Коля, помягче бы все-таки! — пробасил, закурив, Пахомов. — Паренек еще молод. Видел я его. Пускай приезжает. Глядишь, какая-то польза для него, бестолкового, будет. Не вечно же, согласитесь, ему, человеку ищущему, по всяким литобъединениям да вечерам поэзии, с их тоской сплошной, околачиваться!

И тогда я сказал друзьям:

— Есть у меня идея!

И по нитию вкратце изложил им, что можно сейчас нам, троим, предпринять.

Идея грядущего розыгрыша Пахомову с Мишиным, людям опытным в этих делах, чрезвычайно, с ходу, понравилась.

Выпивку мы, на время, отложили. С этим — успеется.

И — приступили к действиям.

Найденными в шкафу герасимовской московской тещи кусками тканей мы, со вкусом и даже с шиком, проявив таланты дизайнерские, элегантно задрапировали настольную старую лампу.

Из того же шкафа затем извлекли стоявшую там, в уголке, в паутине, годами, генеральскую шашку, напомнившую о гайдаровской, школьной романтике, детских играх в войну, кинофильме о Чапаеве и так далее, и повесили, полюбовавшись на ее никакой не острый, потому что никем не заточенный, за ненадобностью, холодный, чуть изогнутый, строгий клинок и надежную, очень удобную, для руки героической созданную неизвестными мастерами, для сражений, для всадника, мчащегося на горячем белом коне, в бой, вперед, на врага, рукоятку, на стене, на красочном фоне потертого, драного коврика, то есть на самом видном и самом почетном месте.

Смотрелась она — решили мы втроем — чрезвычайно эффектно.

Затем на моем столе и прямо на подоконнике, среди горшков и вазонов с комнатными цветами, расставили мы, с художественной, богемной изобретательностью, все пустые, зеленые, белые и коричневые, советские, да еще две-три заграничные, из-под рома и из-под виски, чтобы знали наших, бутылки, все, какие только нашлись в комнате и на кухне.

Рукописи мои мы отодвинули в сторону, но так, чтобы видно было: они всегда под рукой.

В старую, от прибора письменного, чернильницу воткнули гусиное, белое, размохрившееся перо.

Принесли с коммунальной кухни кофейник, пустые чашки, ложки, ножик и сахарницу, поставили их в сторонке.

Красиво расположили стопки растрепанных книг.

Расшитую, в стиле восточном, цветами и птицами, ширму, столетней, наверное, давности, поставили наискось, так, чтобы она срезала один, потемнее, угол.

Водрузили на подоконнике доселе уныло пылившийся на шкафу тяжелый, серебряный, дворцовый, с виду, подсвечник с тремя изрядно оплывшими, поуменившимися в размере, но еще вполне, мы решили, пригодными, стеариновыми, желтоватыми, с фитильками подгоревшими, криво загнутыми, наподобие рыболовных, поржавевших слегка, крючков, вмиг привнесшими в комнату нечто из столетия девятнадцатого или даже из восемнадцатого, разгореться готовыми сызнова в нашем веке, двадцатом, свечами.

Прикрепили на стенах, наскоро, без особого выбора, так, все, что под руку подвернулось, что нашлось, без излишних поисков, что по ходу нам приглянулось, картины разнообразные, в основном мои и губановские рисунки, времен очаковских и покоренья Крыма, как шучу я теперь, хорошие, выразительные, досмоговские, цветные и черно-белые, и несколько репродукций современной западной живописи.

Поразмыслив, я прислонил к стопке книг на краю стола открытку почтовую с «Паном» своего любимого Врубеля.

Очень даже нам пригнулся и без всякого толку стоявший у стены, совсем позабытый, позаброшенный карточный столик.

Нашлась и колода старых, довоенных, игральных карт.

Новонайденный карточный столик мы поставили в центре комнаты.

На столик — направил свет, желтый, теплый, настольной лампы.

На зеленом сукне положили карточную колоду.

Выставили свои бутылки вина, стаканы.

Этакую художественность в обстановке, выходит, создали.

Оглядели ее, придирчиво, все, втроем, — и остались довольными.

То что надо! Ну впрямь как в Большом или в Малом, неважно в каком, скорее, все-таки в нашем, на Автозаводской, театре.

Теперь оставалось только дожидаться приезда Батшева.

И вот он явился. Быстро добрался. Не запылится.

Встал дорожным столбом на пороге. Поздоровался вежливо с нами.

Радушным хозяйским жестом я, слегка старомодно, учтиво, пригласил его, краснощекого бултышонка, войти ко мне.

Он робко, совсем по-школьному, замер у двери в комнату.

Потом, потихоньку, бочком, тишком, бесшумным шажком, протиснулся, просквозил, проник, просочился вовнутрь.

И — замер, с разинутым ртом, глубоко потрясенный увиденным.

Комната, превращенная в обиталище муз и гениев, освещена была приглушенным, загадочным светом.

Горела настольная лампа, элегантно задрапированная зеленой складчатой тканью.

Горели, мерцающая, вспыхивающая, потрескивающая, оплывающая стеарином, расплавленным вниз, чтобы пламя взметнулось вверх, три свечи в тяжелом, серебряном, несомненно дворцовом, подсвечнике.

Поблескивала на стене, на фоне узорного коврика, восточного, безусловно персидского или кавказского, из Лермонтова прямиком, из «Героя нашего времени», прямо с гор, из аулов заоблачных, из легенд, из преданий седых, генеральская, удалая, боевая, это уж ясно, сохранившаяся прекрасно, чтоб в сражения новые рваться, невозможно никак оторваться от нее, взгляд притянет она и в грядущие времена, богатырская, дивная шашка.

Все источники света, дробясь, отражались в большом, почти во всю стену, прохладном, влажном, черно-синем оконном стекле.

На столе моем сразу бросались в глаза весьма многочисленные рукописи и книги, гусиное, как в старину, когда-то, перо в чернильнице, весь этот пушкинский, бароновский, романтический, поэтический, явно творческий беспорядок.

Из включенного в сеть приемника тихонько, плавно лилась грустная, вся в миноре, сплошные бемоли, синкопы, полутона и паузы, чтобы ритму вновь продлеваться, медленная, кружащаяся винтообразно музыка.

Вдосталь было в комнате всяческих, артистически просто сделанных, пора бы отдать нам, дизайнерам, должное, драпировок.

Особенно выразительной оказалась косо срезавшая полутемный угол, цветастая, в стиле восточном, ширма.

Посередине комнаты, в самом центре ее, стоял небольшой, из хорошего дерева, старинный карточный столик.

На зеленом его сукне, освещенном умело направленной сюда настольною лампой, пестрой грудой лежали карты.

Шла игра. Возможно, по крупной.

За карточным столиком важно сидели Пахомов с Мишиным.

Сизый табачный дым поднимался над их головами колеблющимися волнами.

Они — увлеченно играли.

Они — картежники рьяные, не иначе, — не обратили на вошедшего в комнату Батшева, ни на миг, никакого внимания.

— Дама! — басил Пахомов.

— Король! — тенорком воркующим вслед за ним приговаривал Мишин.

— Валет! — басовито гудел, сигаретой пыхтя, Пахомов.

— Туз! — тенорком, со значением, спокойно парировал Мишин.

Шла — игра. Большая. Серьезная.

Это сразу было понятно.

Взлетали руки соперников с зажатыми в них, пестрящими крапом цветастым картами.

Карты с треском сухим ложились на зеленое, чуть потертое, но еще хорошо сохранившееся, до поры, наверно, до времени, до игры пахомовско-мишинской, до сражения их, сукно старинного, разумеется, это ясно с первого взгляда, из хорошего дерева, столика.

Тасовалась лихо колода.

Вспыхивали шипучие огоньки зажигаемых спичек.

Поднимался волнами сизыми к потолку, расползался вдоль стен, вырывался в открытую форточку сигаретный тягучий дым.

— Пики! — басил Пахомов.

— Черви! — парировал Мишин.

— Бубны! — басил Пахомов.

— Дама треф! — парировал Мишин.

Изумрудным толстым стеклом тускловатого, хмельно поблескивали приготовленные для застолья, для которого час настанет после карточной, кто кого, все решится вскоре, игры, на виду стоящие, вот они, целых три бутылки вина.

Таинственным полем зеленым казалось в дыму сукно карточного, старинного, из хорошего дерева, столика.

Зеленая ткань, так смело и так умело наброшенная на лампу настольную, издали казалась дымкою хвойной.

Мерцали в прохладном, влажном, черно-синем стекле оконном отражения лампы настольной, горящих свечей, наших лиц.

Глядели со стен на вошедшего картинку, мои и губановские, а также, к ним в дополнение, репродукции, понемногу, лучше так, Пикассо, Сезанна, Матисса, Ван-Гога, Гогена.

Глядел со стола на всех собравшихся в этой комнате врубелевский, ведический, вечно живущий Пан.

Магически, да и только, притягивала к себе генеральская, настоящая, наградная, роскошная шашка.

Тихая, плавная музыка из включенного в сеть приемника отзвучала — и вместо нее раздалась уже быстрая, джазовая, музыка, буги-вуги, Глен Миллер, всемирный ритм.

В довершение всего, замечу, в еще не прикрытую дверь моей разукрашенной комнаты зашел, как домой к себе, огромный, как леопард, соседский, черный как смоль, жутковатого вида кот, встал спокойно напротив Батшева, посмотрел на него мерцающими, зелеными, со зрачками увеличенными, глазами — и гневно, громко, сурово, этак по-генеральски, не иначе, со всюю строгостью на него, пришельца, мяукнул.

— З-з-з-др-р-равствуйте! — с перепугу, неожиданно заикаясь, уважительно выпалил Батшев.

Кот взглянул на него презрительно, топнул мягкой, когтистой лапой, шумно фыркнул — и валкой походочкой, никуда не спеша особо, помахав хвостом на прощание, всем и каждому, — вышел из комнаты.

Пахомов и Мишин — азартно, якобы ничего и никого вокруг, от занятости своим, чрезвычайно серьезным делом, просто не замечая, некогда, братцы мои, незачем замечать, потому что владела ими неподдельная страсть к игре, потому что ими сегодня руководил азарт, потому что воля к победе и возможность неожиданного проигрыша есть понятия слишком уж разные, полярные, скажем так, и никто никогда не сможет оторвать от стола соперников, покуда один из них наконец-то не проиграет, а другой победить сумеет, но все это лишь впереди, где-то там, в обозримом будущем, в недалеком будущем, так, будет все-таки поточнее, и пока что не трогайте их, не мешайте им нынче сражаться, бой так бой, оба приняли вызов, оба ринулись в это дело, окунулись в него с головой, занырнули так глубоко, что поди-ка вынырни вмиг, нет, ребята, не все ведь сразу, бой так бой, борьба так борьба, кто кого, еще поглядим, кто за кем, еще разберемся, не старайтесь в это вникать, не получится, мы такие, мы в своей сегодня стихии, так и знайте, — играли в карты.

Но вот на приветствие гостя вошедшего, с заиканием, с заминкой невольной в голосе, как будто бы с костью в горле, головы игроков медленно повернулись, от стола с колодой карточной, от игры азартной, к нему.

Батшев, со снятой шапкой в руках, от волнения взмокший, стоял в проеме дверном, робко глядя на игроков.

— Кто это? — басовито, равнодушно, спросил Пахомов и выпустил прямо на Батшева густую струю табачного, сизого, едкого дыма.

— Что там такое? — небрежным, теноровым, оперным тоном, с легкой фиоритурой попутной, спросил Мишин. — Кот наш подопытный, что ли? Все-то ему нейдет. Трансформируется, понимаешь ли. То человеком станет, то опять в кота превратится. Надо бы в Академию наук позвонить, товарищу Булгакову. Пусть забирает, к чертям, своего подопечного. Скажем, что опыт удался.

— Для науки ведь, для родимой, стараемся нынче, Лукьяныч! — рассудительно, по-профессорски, да и только, сказал Пахомов. — Для всего человечества, друг мой. Ради будущего, мон шер, долгожданного нашего, терпим такие метаморфозы.

— Что наука! — сказал, разминая усталые плечи, Мишин. — Наука не все понимает. Тут в быту, прямо рядом, такое происходит, что никакая, научная даже, фантастика сроду не отобразит.

— Да-да, согласен, — сказал, покивав, Пахомов. — И все-таки, Николай, я за науку. За ней, согласись-ка со мною, будущее.

— Будущее, Аркадий, уверен я, за театром! — веско сказал Мишин.

— И за театром тоже! — согласился охотно Пахомов.

И тут уж, вмешавшись сознательно в их диалог мудреный, я вполне дружелюбно сказал:

— Вот это — Батшев. Знакомьтесь, ребята. Зовут Володей.

— 3-з-драсьте! — сказал им Батшев, держа свою шапку в руках.

— Как вы сказали нам сейчас, молодой человек? — обратился к нему Пахомов озадаченно. — Баташев?

— Бат-шев! — с готовностью школьной уточнил, смущаясь, пришедший.

— Так, так! — сказал, с пониманием, по-учительски строго, Пахомов. — А чем, уточнить позволите, в жизни вы занимаетесь? Учитесь где-нибудь? Каковы интересы? Пристрастия?

— Стихи пишу! — произнес еле слышно, с усилием, Батшев.

— Где-то я молодого этого человека видел уже! — сказал Мишин. — Вот только где? Вспомнить бы! Щеки румяные. Очень они запомнились.

— В Политехническом! — скромно, стесняясь, ответил Батшев. — Я там недавно, на вечере поэзии, новую вещь, поэму свою читал.

— Да-да, — процедил сквозь зубы, выдержав паузу, Мишин. — Как же! Припоминаю.

— Ну-с, молодой человек, — сказал спокойно Пахомов. — Что же вы? Так и будете истуканом стоять на пороге? Смотрите. А то ведь кот может сюда вернуться.

— Парень, а ну-ка закрой, как можно скорее, дверь! — приказал румяному гостю Мишин. И уточнил, для ясности: — В спину дует.

Батшев, слишком поспешно, угодливо, аккуратно, прикрыл за собою дверь.

— Да ты проходи, не стесняйся! — сказал я ему поприветливее. — Пальто — на вешалку, шапку — на табуретку. Присаживайся. Видишь, какая у нас обстановка сегодня. Друзья мои карточный спор свой решают. Ради такого важного дела ужин пришлось отложить. Собирались мы поехать в «Узбекистан», ресторан излюбленный наш. Да теперь-то куда нам ехать!

Батшев, пальто свое сняв и шапку на табуретку положив, тихонько присел на самый краешек стула.

— Итак, молодой человек, — сказал ему строго Пахомов, — стало быть, вы стихи, как я понимаю, пишете.

— Пишу, — отвечивал Батшев.

— И давно?

— Порядком уже.

— И что же? Где-то печатаетесь?

— Еще нет. Но возможно, буду.

— Это плохо! — сказал Пахомов.

— Почему? — удивился Батшев.

— Потому! — отозвался Пахомов.

— Понимаешь, — сказал я Батшеву, — в наше время печататься просто неприлично. Так мы считаем. Такая у нас этика.

— Так что, парень, — сказал, повысив ненамного голос, Мишин, — если ты ходить по редакциям намылился, со своими поэмами, то немедленно, лучше прямо сейчас, уходи подброду-поздорову отсюда и в дальнейшем уже никогда к нам не суйся больше. Ты понял?

— Понял, — ответил Батшев. — Но как же тогда Рождественский, Евтушенко и Вознесенский? Они ведь везде печатаются.

— Не говори при мне о них! — покачал у Батшева перед носом приподнятым вверх указательным пальцем Коля. — Заруби себе на носу: их для нас — нет, и все тут. Понял?

- Понял, — ответил Батшев.
- Я представлю своих друзей, — сказал я румяному гостю.
- Аркаша Пахомов с Колей Мишиным развернулись на стульях своих ко мне.
- Мой друг Аркадий Пахомов! — торжественно, словно римлянин, указал я простертой рукой на окутанного туманом, сигаретным, сизым, Аркашу.
- Аркадий. По батюшке — Дмитриевич! — пожал, без особых эмоций, влажную руку Батшева, щурясь от дыма, Пахомов.
- Мой друг Николай Мишин! — чинно представил я Колю.
- Николай Лукьянович! — подал небрежно два пальца Батшеву, слегка поморщившись, Коля.
- Ну-с, — промолвил Пахомов. — Кажется, господа, принять на грудь нам пора.
- Это можно! — взглянув на бутылки с вином, согласился Мишин.
- Самое время! — сказал я, посмотрев на свои часы.
- Кстати, — сказал Пахомов, — число бутылок меня, друзья мои, не устраивает.
- Верно, — поддакнул Мишин. — Их всего три. А надо, чтобы их было ровно пять.
- Почему? — удивился Батшев.
- Из мистических соображений, — пояснил, посерьезнев, я.
- Кстати, — сказал Пахомов, — кто у нас тут самый младший? Молодой человек, не вы ли? — обратился он на Батшева строгий, почти отеческий взгляд.
- Наверно, я! — согласился, с военной готовностью, Батшев.
- А что полагается делать в компании самому младшему? — спросил его с тихим укором и взглядом суровым Пахомов.
- Что? — не понял опешивший Батшев.
- Самому младшему, парень, да еще и в присутствии старших, выпить намеревающихся, полагается по традиции тут же бежать за выпивкой. Дабы внести свой вклад в благородное, доброе дело дружеских возлияний. Чтобы действием доказать свою преданность, наконец. Или я говорю непонятно? — вновь он строго, с укором, с прищуром, сквозь дым, посмотрел на Батшева.
- Я понял! Я все уже понял! — воскликнул румяный Батшев. — Я сбегаю! Это я мигом! Когда я сюда, к вам, шел, то проходил как раз мимо такого скромного гастронома, с винным отделом. Это близко, буквально рядом. У меня ведь и деньги есть!
- И его словно ветром сдуло.

Без пальто и без шапки, бросился он в коридор, потом — в дверь квартиры, которую как раз открывала соседка, и загрохотал подошвами в подъезде, по лестнице, вниз.

— Парень-то, ишь ты поди ж ты, подает надежды! — сказал, поглядев ему вслед, Пахомов.

— Зачем с ним возиться? — спросил меня встревоженный чем-то Мишин. — Гони ты его в шею. Поганый он человек.

— Да ладно тебе. Суров ты чрезмерно сегодня, Коля! — сказал я миролюбиво. — Пусть побудет с нами немного, раз уж сам притащился сюда.

— Ну, смотри! Как знаешь! — сказал Мишин. — А тип он противный.

— Посмотрим, как говорят иногда, на его поведение! — попробовал я отшутиться.

— Пусть выучку нынче пройдет, — сказал, подумав, Пахомов, — а там, ребята, посмотрим, гнать его или оставить.

Минут через пять раздался звонок. Я открыл дверь.

Батшев, еще обильнее покрасневшийся, взмокший, взмыленный, достал из карманов штанов две бутылки портвейна белого, поставил их с ходу на стол и попробовал изобразить радостную улыбку.

— Ну, молодой человек, — сказал ему строго Пахомов, — успели вы, в общем-то, в срок. Это отраднo видеть. Портвейном, гляжу, отоварились. Подешевле небось выбирали?

— Ну да, — согласился Батшев. — По правилам. Как полагается.

— Так, — промолвил Пахомов. — Привычки ваши ясны.

Мишин открыл с известным шиком бутылку портвейна — и протянул ее Батшеву.

— Пей, парень! — сказал ему Коля брезгливо. — Всю. Из горла.

— Зачем? — удивился Батшев.

— Таков ритуал! — пояснил я, понизив нарочно голос. — Вхождение в мир искусства. Может быть, даже — в наш круг. Белая магия. Мистика. Тайна. Так полагается.

— Пей, тебе говорят! — прикрикнул на Батшева Коля.

Румяный Батшев, скривившись, захлебываясь и давясь, начал пить, из горлышка прямо, дешевый белый портвейн.

Мы, втроем, наблюдали за ним.

Бутылку он одолел.

Но — сразу же — окосел.

Щеки побагровели.

Глазки сделались мокрыми.

Да, подумали мы, бывалые и матерые мужики, соратники, собутыльники, герои, поэты, друзья, — видели мы воочию, как нелегко далась ему бутылка портвейна, целая, ни больше ни меньше, бутылка, бутылка довольно мерзкого питья, с немалыми градусами, бутылка, всего-то, белого портвейна, вполне нормального напитка, для всех привычного в советской нашей действительности, рядового, традиционного, заурядного, может быть, пусть, но частенько просто спасительного, в условиях относительного порядка в стране и режима, вызывавшего боль да грусть.

Да, видно было, — не тянет на соратника и героя раскрасневшийся от портвейна и волнения паренек.

Событие, что ли, значительное?

Ну подумаешь, выпил вина.

Впечатление — огорчительное.

Наверстает ли все сполна?

Пил из горла. Надрывался. Нарывался на подвиги — сам.

Очень уж он старался, чтоб хоть этим понравиться нам.

Окосев, он стал побойчее.

Пытался то так, то этак приспособиться к нам, к нашим ритмам.

Ну а мы, продолжая розыгрыш свой осенний, изображали бывалых, выдавших виды, умудренных жизнью, в сражениях побывавших многих, точнее, в ситуациях разнообразных, твердо знающих, что почем, что и как в окружающей нас, ненормальной, советской действительности, в неизбежной ее относительности, в неизменной людской впечатлительности, жестких, правильных мужиков.

Обменивались, поглядывая, друг на друга или на гостя краснощекого нашего, так, иногда, между прочим, вскользь, будто вышло это случайно, прорвалось невольно, само, сквозь обычные разговоры, сквозь привычные, вроде, для всех, но таящие смысл особый, зашифрованные слова, сквозь гримасы и недомолвки, сквозь молчание, многозначительными, с явной тайной внутри, с незримою подоплекой, туманными фразами.

Вспоминали различные случаи из нелегкой, походной жизни. Прихлебывали, никуда не спеша, по глоточку, вино.

Батшеву — больше ни грамма, из принципа, не давали.

Он жадно, весь в слух превратившись, внимательно, слушал нас.

Вникал в суть слов и понятий. Все тут же запоминал.

И так ему сильно хотелось выглядеть нынче своим, так он из кожи вон лез, тужился, так старался, что даже неловко мне за него порой становилось: ну что это он так заискивает, так хочет понравиться нам, лебезит, уважение всячески, некстати и кстати, выказывает?

Что он за тип такой?

Нет, не то что в друзья — какое там, с чего бы дружить нам с ним? — и в приятели он не годится.

Меня позвала к телефону, в дверь постучав, соседка.

Звонил Губанов. Немного мы с ним поговорили.

Я вернулся в комнату вскоре. И сказал, обращаясь ко всем:

— Леня Губанов звонил. Вам, Аркаша и Коля, приветы передавал. Говорит, новый цикл стихов только что написал. Почитать на днях собирается.

— А мне, скажите, а мне, — взвился штопором Батшев, — можно будет пойти? Можно будет послушать? Можно мне будет с Леней Губановым познакомиться?

— Посмотрим еще в дальнейшем на твое поведение, парень! — осадил его холодно Мишин.

— Это уж как получится, как Леня Губанов захочет! — философски заметил Пахомов. — Эх! — он по-богатырски расправил сутулые плечи и растроганно прогудел: — «Глупышка, ивушка, Ивашка, сорокалетие настало!..»

— «Полина, полынья моя...» — с замиранием в дрогнувшем в голосе процитировал тихо Батшев.

— Ишь ты! — сощурился Мишин. — Вы только подумайте! Знает!

— Я многое, многое помню из Губанова! Я наизусть стихи его многие знаю! — затараторил Батшев. — Я из вас, Володя, из ваших прежних и новых стихов, помню многое, очень многое! — обратился он, раскрасневшись пуще прежнего, прямо ко мне. — «Когда я вышел на крыльцо...», «Смотрите — деревья ладонями машут — им тоже не выйти из этой игры...» Замечательно просто! Здорово!

— Смотри-ка! — еще сильнее и зорче сощурился Мишин. — Ишь ты какой! Запомнил!

— А я, между прочим, сразу же все нужное запоминаю! — возбужденно похвастался Батшев. — Как услышу хоть что-нибудь важное, так и запоминаю.

(Говорил мне, уже в девяностых, кто-то из давних моих, московских, приличных, знакомых, что в своих, даже изданных где-то, бестолковых воспоминаниях Батшев отобразил свой давнишний визит ко мне.

Мую коммунальную комнату называет он там почему-то странной и пятиугольной. Померещилось, может. Со страху.

Ну а то, что странной она ему показалась, так это уж точно. Мы тогда постарались придать ей художественный, артистический, богемный, а потому, конечно, и странный вид.)

— Надо же! — пробасил, отхлебнув портвейна, Пахомов. — И что же, выходит, вы, молодой человек, все то, о чем говорили мы втроем сегодня, запомнили?

— А как же! — воскликнул Батшев. — Я сегодня впервые в жизни, вместе, рядом, сию с поэтами настоящими! Я так рад, что к себе вы меня пригласили!

— Восторженное у парня отношение, други, к поэтам! — сказал, подбрав, Пахомов.  
— Сыскное, вот что скажу я, у него, хлыща, отношение, догадаться несложно, к поэтам! — вдруг тихо совсем процедил помрачневший неожиданно Мишин.

Я быстро, недоуменно посмотрел в упор на него.

Коля как-то слишком серьезно посмотрел в упор на меня.

Что хотел он этим сказать?

Пошутил? Догадался о чем-нибудь?

Он угрюмо и тяжело молчал.

Один я, со слухом своим отменным, вмиг среагировал на его действительно страшное, необычное замечание.

Ни Пахомов, ни Батшев румяный — этого не услышали.

Стало мне почему-то грустно.

И к забавному нашему розыгрышу почему-то пропал интерес.

И хотелось лишь одного — одиночества и покоя.

Поздно вечером — все разошлись.

Я остался один. Закурил. Посмотрел в окно, за которым трепетали остатки листвы на деревьях окрестных, под ветром, налетающим, снова и снова, то с одной, то с другой стороны, хищно, дерзко, на всю округу, на столицу в тумане сонном, на страну в океане бездонном темноты ночной, тишины с тусклым отсветом бледной луны, — и великую грусть почувал...

И гадать не хочу я вовсе, удачен ли был наш розыгрыш или не очень удачен.

Почему? Потому что в кратчайшее время румяный Батшев пролез повсюду, куда только можно было. Внедрился.

И с Губановым познакомился.

И с приятелями другими нашими познакомился.

И уже везде, где возможно, читал он свои стихи.

Был чрезвычайно активен. Словно зуд его донимал какой-то. Ему хотелось действовать. Будоражить общественность. Выступать на площадях. Читать со сцены в огромных залах. И так далее. Много чего ему в то время хотелось.

И зачем я как-то нелепо, на авось, мол, была не была, притерпелся, что ли, к нему, наглецу, проходимцу, тогда?

Привык? Почему — привык?

Нет. Именно притерпелся.

Ну, есть, мол, такой, и ладно.

Переделать его невозможно.

Такой уродился, шустрый.

Практичный. Двуличный. Столичный.

При полном отсутствии дара.

При наличии качеств других.

Через месяц примерно, придя ко мне на Автозаводскую днем, без всякого там звонка, на правах знакомого, к чему я тогда отнесся отнюдь не с восторгом, он, шевели вихрами немытыми с проступающими из них рожками, что я сразу же заметил, и розовея безволосыми красными щечками, будет с явным, яснее некуда, упоением, торжествуя, наблюдать, как в очередном, внезапном, нахлынувшем приступе отчаяния проклятого, прямо здесь, в коммунальной комнате, на его, мерзавца, глазах, прямо в обычной

кастрюле, бросая туда непрерывно скомканные, измятые, в мелкие клочья изорванные, пачки мною исписанных белых бумажных листов и поджигая их, уничтожаю я свои стихи, и пылает устроенный мною костер, и по всей моей милой комнате разлетаются невесомые, те, что были белыми, ставшие лиловато-черными, клочья вроде уж и не бумаги, но, вроде, еще и не копоти, а так, пограничного, что ли, чего-то, всего лишь мгновенье назад, несомненно, бывшего стихами моими, многими, а теперь превращенного в пепел, в легкий прах, на грани зияния, — так я и запомнил его, стоящего в окружении почерневших, сгоревших ошметков былых писаний моих, и с неопикуемым, злостным наслаждением наблюдающего за их полетом свободным в ограниченном, тесном пространстве моего жилища столичного, и в глазах его я читал: жги, жги! могу и помочь! не откажу себе, ежели что, в таком удовольствии! — но тогда я обошелся и сам, без сопливых, и сжег все, что сгреб в охапку со стола своего, без разбора, что под руку подвернулось и брошено было в костер, — и только потом уже, позже, спохватился, но было поздно, — и осеннее пламя, домашнее, самиздатовское, так сказать, пошучу, сквозь грусть улыбнувшись, унесло навсегда с собою те стихи, что ему я отдал самолично, в недобрый час, моего горения часть, — но в тогдашнем круговращенье продолжалось мое горенье, и не мог его удержать никто, и стихи другие пришли, и горечь прошла, — так, виденье, воспоминанье, род безумья, почти за гранью, осень, пламя, пепел, зола...

Буквально через три месяца он, оглоед, начнет уже общественно-политическую деятельность свою, с бестолковщиной злостной, — в СМОГе.

А потом — все придется расхлебывать.

Слишком долго. Мне в основном.

Не было у меня тогда ни защиты, ни помощи, в отличие от моих друзей, людей защищенных.

И на целую четверть века СМОГ, в который я вкладывал свой собственный смысл, творческий прежде всего, но другими смогистами понимаемый, видимо, по-другому, изуродовал, как ни горько мне о таком говорить опять, мою жизнь. И пришлось — выживать. Не до розыгрышей бывало. Но судьба к трудам призывала, чтоб из бед сумел восставать...

По зороастрийскому календарю нынешний, в новом столетии продолжающийся, две тысячи второй, в звездной россыпи, год — это, други мои, год Оленя.

(Вспомнил, что в школе меня называли порой Оленем.)

У Оленя есть антитотем.

Это Жаба. Причем бородавчатая.

Этакая вся скользкая, неприятная, нет, отвратительная, неискренняя в словах и, само собою, в делах, любит она давить, воздействовать на других, норовит их везде подавлять, и всегда она, мерзопакостная, чем-нибудь да недовольна, все ей, бесстыжей, не нравится, все у нее не так вокруг, но к тому же и наглости у нее всегда достаточно, и еще она просто ужасно чванлива, до невозможности, и еще, ничего из себя хорошего не представляя, очень любит себе приписывать заслуги чужие, а также достоинства чьи-то немалые, а еще, что совсем уж противно, жаждет эта гадина власти, спит и видит, как бы скорее до нее, до власти, дорваться, как бы власть эту ей, паскуде, похитрее заполучить.

В общем, сплошные пороки.

И под влияние этого нехорошего антитотема нельзя, читатель мой, в нынешнем году ни за что попадать.

Надо бороться с нечистью.

Вот, пожалуйста. Стоило только вспомнить сейчас о нечисти, вспомнить, морщась и негодуя, о бородавчатой Жабе, как она уже притянула к себе подобное ей.

И сразу я вспомнил о Тарсисе.

Этот Тарсис, хотя и со скрипом рифмовался со словом «катарсис», был еще и просто кошмарсис.

Натуральный, классический монстр.

Не из петровской Кунсткамеры и не из фильмов ужасов, к сожалению, но — из советской, породившей его, действительности.

Было в нем что-то жабье.

Но, в довесок, еще и бабье.

И, в дополнение к этому, было нечто от жлоба, рьяно игравшего в сноба, в котором бурлила злоба.

Мрак, и только. Ну и особа!

Вурдалак. По такому выродку плачет лесная чащоба.

Там и место ему, подходящее, в гущине, от людей подальше.

Нет, и оттуда бы, видимо, его, не стерпев, поперли.

Куда? На кудыкину гору.

Вот, представьте: при полной луне, среди ночи, вдруг открывается крышка гроба — и приподнимается оттуда гниющий Тарсис.

Бородавчато-скользкий. Трясучий.

Зубы щелкают. Кости гремят.

Скалит зеленую пасть.

Потрох сучий, мурло трясучее, как сказали бы люди бывалые.

Из могилы — в ночь выползает.

И — деятельность вурдалачью свою на земле начинает.

(Говорили, что он стукач.

Исправный. Советский. Со стажем.

Утверждали, что он, работник издательский заурядный, многих успел заложить.

Думаю, так все и было.

Наверняка это правда.)

Идиотское впечатление производил он когда-то на людей, всем видом своим.

Дерганый, как на шарнирах, фыркающий, неряшливый, кисельный, болотный, хлюпающий вонючей, мерзкой грязью. Брызгающий во все стороны избыточными слюнями.

Хрюкающий оскаленным ртом, с мокрыми, пухлыми, бабьими, нет, жабьими, все же, губами.

Ширинка на брюках расстегнута.

Руки — липкие, суетливо потираемые, корявые.

Постоянно потел. Чихал.

Сморкался. Кашлял. Хихикал.

Звали монстра — Валерий Яковлевич.

При СМОГе он появился — будто из-под земли.

Не исключено, что из гроба.

Прямо с кладбища прилетел.

Поработать желал с молодежью.

По стукаческой специальности.

Появился — и прикипел.

А потом уж и распоясался.

Проявился — во всей своей скользкой, жабьей, выморочной, вурдалачьей, потусторонней сущности.

Противный тип. Отвратительный.

И проза его — дурацкая.

Никудышняя. Вурдалачья.

С претензиями загробными.

В поту и в зеленых соплях.

С оскаленными зубами.

Ишь ты, славы хотелось ему, мировой хотелось известности! А писать вурдалак — не умел.

Вот и решил он вылезти на злостной антисоветчине.

Потом уехал на Запад.

И заглох там. Сгинул. Исчез.

Крышка гроба над ним захлопнулась.

Кол осиновый вбили в могилу.

И забыли его. Навсегда.

В СМОГе он, с таким понтом, собственную академию, ни больше ни меньше, все-речь намеревался создать.

(Вот откуда еще пошла, как видите, страсть у некоторых субъектов и типажей междувременья — к академиям.

Поскорее производить их, да побольше, да позабористей!

Чтобы в каждой из них — числиться.

В академиках состоять — это вам не хухры-мухры.

Есть в Москве такой гражданин, россиянин, как стали зачем-то говорить повсюду при Ельцине, путешествующий в прекрасном, зарубежные страны включая, книги, рукописи, картины, службы, дружбы, стихи, романы, жен, тусовки, мечты, Слава Лен.

Паладдин? Аладдин? Насреддин?

Что вы, нет! Он такой — один.

Славен впрямь. Господин Епишин.

По ученой части, в советские времена, — кандидат наук, перспективных, геологических, — так его старый кореш, видный химик, доктор наук, автор сотен статей научных, сочиняющий и стихи, временами, под настроение, человек ироничный, спортивный, компанейский, любитель выпить, закрутить на досуге роман, погутарить, о том, о сем, с кем-нибудь из приятелей давних, человек достаточно трезвый, с головой уходящий в труды, о которых я, например, представление самое смутное до сих пор, к сожаленью, имею, но догадываюсь порой о серьезности их, Володя Сергиенко, всегда утверждает, и ему, конечно, виднее.

Лен — псевдоним. А-ля рюс.

Русский — дальше уж некуда.

Лен сплошной, куда ни взгляни, домотканые, значит, холсты, голубые в поле цветочки.

Господа каббалисты — есть на Руси они — утверждают — сам видел по телевизору, в девяностых, в грустную пору междувременья и расцвета сорняка словесного «как бы», одного, молодого весьма, разговорчивого каббалиста и слушал его откровения, — что когда человек берет себе псевдоним, то весь он меняется, и нередко — до неузнаваемости, и становится он тогда совершенно другим человеком.

Молодой каббалист рассказывал, что большевики российские это дело, с метаморфозами сплошь и рядом, очень любили.

Каббалистом главным годами работал у них Луначарский — вот он и выдумывал всякие нужные псевдонимы своим, далеко не всем, товарищам верным по партии, с каббалистическим, скрытым от посторонних глаз, но ясным для посвященных, само собою, значением.

Очень даже возможно, что так все в действительности и было.

Вот Лимонову псевдоним, заменив его заурядную фамилию, так себе, серенькую, украинскую, вроде Савенко, на более звучное, с привкусом фруктово-тропическим, прозвище, вовсе не Луначарский, а художник-авангардист и король, даже за океаном, в Америке, черного юмора, не забывший о родине, Вагрич Бахчанян, давно, еще в Харькове, придумал — и посмотрите, что в итоге из этого вышло.

Кабалистика всюду. Мистика.

Появление новых субъектов, или фруктов, скорее — бесов, без всякого там клонирования.

Господин Епишин, стихи сочиняющий на досуге, — тот себе псевдоним свой броский, для пленительной красоты и мгновенной запоминаемости, по простой, понятной причине, потому что, следует помнить, состоит его псевдоним всего-то из трех, не тех, всем известных, заборных, ругательство короткое образующих, нет, ну что вы, других, даже с виду, полиричной, послаще, букв, сам себе, скорее всего, в шестидесятых, в бессонные, но плодотворные ночи, в поте лица, придумал.

И — стал другим человеком.

Не только поэтом, но и прозаиком, и драматургом.

А в суете, бестолковщине и бредятине междувременья — еще и общественным деятелем, и помощником всяких нынешних, состоятельных и пробивных, людей, вроде Миши Шемякина или, как его там, Церетели, и даже, как утверждал он, советником президента Ельцина по вопросам не чего-нибудь, а культуры.

Все вполне могло быть. Псевдоним!

Каббалистика, да и только!

Видел я, и читал, приходилось, всего-то навсего книжку, одну-единственную, изданную по случаю, собственную его, брошюрку, скромную, тощую, в тридцать две, со стихами, страницы.

«Я твой пупок целую изнутри...»

Шедевр этот всем в Москве был известен в прежние годы.

Венедикт Ерофеев, Веня, как обычно его называют и в столице, и за границей, и на Марсе, и на Луне, — тот однажды не поленился, тот в свою записную книжку внутреннюю эту строку с удовольствием явным вписал, перед этим, в течение целого получаса, отхохотавшись как следует, от немалого, запредельного изумления.

В смутные, дикие годы нашего междувременья слышал я иногда от Ляна (по его убедительной просьбе, давней, следует всем согражданам, чужестранцам, гостям залетным из других миров, да и прочим существам, говорить: от Лена), — слышал я от Епишина-Лена, что создано им, представьте, за долгие годы работы, собрание сочинений, целых шестнадцать томов, — да вот ведь, гады какие, в журналах его романы почему-то все не берут, не хотят их упорно печатать, и особенно, кстати, в «Знамени».

Через год непечатных томов было уже семнадцать, потом их стало уже восемнадцать, ну и так далее.

Так вот. Вернемся, читатель мой, к нынешним академикам.

Пришел я как-то на общее ПЕН-клубовское собрание.

И кого же там я увидел, прежде всех? Конечно же, Лена.

В костюмчике, в галстучке-бабочке, с улыбочкой а-ля рюс, псевдониму его соответствующей, стоял он у входа в зал с видом если и не хозяина, то, по крайней мере, солидного, полноправного члена общества.

Этак по-свойски. Запросто.

Хотя и не состоял в ПЕН-клубе. Но в этом ли дело!

Важно, что был он — здесь.

У Жени Рейна, поэта, весьма и весьма известного, лауреата множества премий литературных, исколесившего добрую половину земного шара, бывшего петербуржца, Дон Жуана, светского, может быть, по советским былым временам с их мерками странными, льва, человека почти богемного, выпивохи, гуляки, лодыря, но практичного и трезвейшего, если дело требует этого, нынешнего москвича, преподавателя в горьковском, на бульваре Тверском расположенном, Литинституте, кузнице кадров литературных, то есть поэтов, прозаиков и еще кого-то, возможно, критиков и драматургов, у Рейна, любимца публики, вальяжного и седого, в годах, многократно увенчанного лаврами, вроде бы свежими, пока еще не засохшими, до поры до времени, видимо, проживем, увидим, как водится, у Рейна, ПЕН-клубовца знатного, знатока всего невозвратного, пробудилось тогда чувство юмора.

Послушав немного хваставшегося своими заслугами Лена, вдруг подвел он к нему, парящему на крылышках галстука-бабочки, над реальным и воображаемым, над ПЕН-клубовскими людьми, над Москвой, поэтессу Лиснянскую, известную, героическую, жену известного Липкина, героического поэта, маленькую, худую, опешившую от натиска здоровенного, шумного Рейна (и все это мне напомнило классическое умыкание, по восточному образцу), и представил ее:

— Знакомьтесь!

С высоты своего немалого роста, дядя, достань воробышка, по дразнилке детской старинной, указал он куда-то вниз, на Лиснянскую, и, со значением, с пиететом, накрепко связанным с нужным пафосом, с уважением, с обожанием и симпатией, вперемешку, по-рейновски, запросто, с повелительной, властной ноткой, с умилением и почтением, все смешалось в его словах, все мгновенно переплелось, чтобы тут же перенести их на скрижали, чтоб сохранить для потомков, с призывной музыкой в каждой букве и в каждом слогe, в начертании их и звучнии, громогласно изрек:

— Лучший лирик!

Сделал паузу, в лучших традициях театральных, по Станиславскому, и дополнил свою чеканную, с трубным гласом, характеристику, по-суворовски лаконичную, грозным выкриком:

— Наших дней!

Лиснянская, титулом этим смущенная, но и польщенная, приветливо, снизу, глядя из-за Рейна, кивнула Лену.

И тогда, воспарив напоследок на крылышках галстука-бабочки и решительно приземлившись, то есть на пол встав, на паркет, ногами обеими, твердо, как в мухинской, знаменитой скульптуре, стоит рабочий, без колхозницы, к сожалению, без молота и серпа, пропавших куда-то, незримых, допустим, подразумеваемых, как и многое в мире этом, удивительном, право слово, и загадочном, несомненно, для кого-то, по крайней мере, если все-таки не для всех, Лен, отступив на шаг назад, встав эффектно, так, чтобы все ПЕН-клубовцы, оптом, лицезрели его и слышали, заложив руки за спину чинно, широко развернув, расправив, как на свадьбе мехи баяна расправляет хмельной баянист, грудь в проглаженной белой рубашечке, потряхивая игриво крылышками своей, приросшей к имиджу, бабочки, горделиво и высоко поднял голову, рот раскрыл — и начал, отчетливо, громко, по-научному скрупулезно и точно, перечислять свои титулы и регалии:

— Академик такой-то российской академии... академик этакой академии... академик такой академии... академик вот ведь какой академии... академик еще и такой академии... академик, прошу заметить, еще и такой академии... академик, между про-

чим, и вот какой академии... академик, да-с, прямо скажем, и этой вот академии... академик, ну да, воленс-ноленс, и той еще академии... академик вот той академии... академик той самой, кстати, академии... академик новой нынешней академии... академик уже новейшей академии... академик самой лучшей, наиновейшей, супер, гипер, сюр, академии... профессор такой-то... профессор этакий и разэтакий... профессор вот ведь какой... профессор еще и такой... лауреат, как видите, премии литературной такой-то... лауреат престижной премии этакой... автор термина «Бронзовый век»... руководитель бессменный проекта международного такого-то... руководитель проекта общероссийского такого-то... и других проектов руководитель... заслуженный деятель, дамы и господа, такой-то... основатель литературного направления (знайте об этом, современники и потомки, знайте все и повсюду), СМОГ и бессменный лидер его... создатель литературного направления, после смогизма с изузмизмом, после всего, что за ними было, такого-то... автор двадцатитомного собрания сочинений, в котором имеются, знайте об этом, помните днем и ночью, издатели и читатели, романы, пьесы, стихи, статьи и произведения прочих, разнообразных, на выбор, видов и жанров... руководитель того-то... куратор суровый этого-то... президентский советник... личный, полноправный, с большими возможностями и огромными полномочиями, представитель надежный того-то... основатель журнала такого-то... вдохновитель идейный движения общественного такого-то...

Велик и безбрежен был его послужной список.

И долго еще он что-то дотошно перечислял.

Потрясенная всем услышанным крохотная Лиснянская, побледневшая, обессиленная, сползала медленно на пол.

Что там ее, казавшийся, только что, громким, титул, на ходу, из симпатии к даме, изобретенный Рейном, что там все ее скромное творчество, поэтическое, прозаическое, — перед этаким вот, из Рабле, не иначе, из Свифта, роскошеством!

Рейн успел подхватить ее, словно куклу, в процессе падения на пол, вернуть из обморока и поставить бережно на ноги.

Но стояла она неуверенно и все время слегка пошатывалась.

Вокруг нас густой толпой давно уже собрались, вытаращив глаза от великого изумления и раскрыв поневоле рты, многочисленные, разновозрастные, разномастные члены ПЕН-клуба, которые ничего подобного сроду не слышали, радуясь, очевидно, что выпала им на долю, наконец-то, редчайшая, видимо, такая вот, чисто случайная, но счастливейшая возможность — лицезреть и слушать почтительно, перед общим собранием, все-таки рядовым, скучноватым, такого выдающегося человека.

А Лен, то ли в раж вошедший, то ли, может, впавший в психоз, распалившись, все говорил, все перечислял свои титулы.

И склонили тогда многочисленные, разновозрастные, разномастные ПЕН-клубовцы, молча склонили свои многотумные, лысые, седые, увы, в основном, но изредка без седины и без лысины, всем заметной, хотя и с явной возможностью, с перспективой, вполне понятной, на обретение скорое таковых, в недалеком грядущем, писательские, боевые, удалые, шестидесятнические, лихие, властительскодумские в прошлом, когда-то, головы, склонили их перед величием такого вот, в галстук-бабочке, в костюмчике чистеньком, глаженном, с улыбочкой а-ля рюс, потрясшего их своей речью, похожей отчасти на проповедь, особенного, видать, по Ницше, со сверхчеловеческими возможностями, горделиво стоящего перед ними, о заслугах своих им поведавшего перед всем человечеством, скромного, с псевдонимом льяняным, человека.

И гурьбою пошли они в зал, на собрание общее, клубное, и долго еще потом покачивали головами, вспоминая недавно услышанное, а некоторые из них, чтоб ничего, ни

буковки, не забыть из слов академика, быстренько заносили в блокноты свои и в книжки записные, кто уж куда, золотые эти слова, надеясь, видимо, втайне, обнародовав их, когда-нибудь, потихоньку, при случае, в будущем, сделать их достоянием масс.

И долго еще молва о Лене жила в ПЕН-клубе. А может быть, и теперь живет. Секретарши — знают. У них и спросите, если это вас интересует.

Что же Лен? Да так, ничего.  
Подвизается где-то, видимо.  
Ходит-бродит, по всей Москве.  
За ее пределами — тоже.  
Гражданин, а чего — неизвестно.  
Семьянин ли? Да кто его знает!  
Господин Владислав Епишин.  
В просторечии — Слава Лен.  
То в костюмчике он, милашка.  
То в рубашечке нараспашку.  
Допускает порой промашку.  
Превращается в страшный сон.

Устроили как-то, помню, еще в девяностых годах, в Георгиевском переулке, в клубе, тогда известном всем в Москве, у Татьяны Михайловской, довольно скромный, без шумихи, но — вечер СМОГа.

Пригласили меня туда — почитать стихи, пообщаться, в обстановке приятной, с людьми.

Пригласили и кое-кого из других, кто придет, смогистов.  
Дело нужное, вроде, собрался.  
Дотащился туда, с трудом.  
Как всегда, на метро и пешком.  
Захожу, минута в минуту, — а там уже Лен сидит.  
За столом. На центральном месте.

Перед ним — стопа здоровенная бумаги. Стихи его. Разные. Приготовленные для прочтения.

Сидит себе. В галстук-бабочке.

Ни меня, ни прочих смогистов — не видит в упор и не слышит.

И когда он дорвался до чтения, то раскрыл свой сморщенный рот и читал, читал свои опусы, покуда всю эту стопу бумаги не перечитал.

Вот ведь как человеку надо показать порою себя.

И товар свой лицом показать.

Если надо — влезет, без спросу, без раздумий куда угодно.

Лишь бы где-нибудь засветиться.

Лишь бы на людях побывать.

Как его поточнее назвать?

Ни хрена ему не добиться.

Никогда. Ни за что. Никак.

Есть на нем — проставленный знак.

Есть на нем — невидимый крест.

Есть при нем — беспомощный жест.

Нету в нем — таланта. Увы.

Он — посмешище для Москвы?

Уж не знаю. Мне его — жаль.

Пишет все-таки. Вот печаль!..

Дышит, все-таки. Пусть живет.  
Пусть, кем хочет, тем и слывет.

И опять я его, в костюмчике аккуратненьком, в галстучке-бабочке, советника президентского, помощника церетелевского, представителя, основателя, профессора, академика, вдохновителя, учредителя, какое-то время не видел.

В прошлом году звонит мне мой друг Аркадий Агапкин. Говорит: Лен где-то устраивает, самолично, самостоятельно, беспардонно, самонадеянно и цинично, само собой, но еще и глупейшим образом, потому что кто он такой, чтоб решать ему что-то за нас, кто он есть, академик липовый, борзописец хренов, при бабочке и в костюмчике, вечер СМОГа — и его зовет, почитать.

А вот меня-то, Алейникова, сказал мне Аркадий с грустью, Лен и не думает звать.

Потому что, как он, профессор лжи и наглости, утверждает, в СМОГе меня, Алейникова, не было вообще

Был — только он, Лен. Он — главный смогист. Он — все.

Для СМОГа. Для литературы. И даже для президента. Не говоря уж о всяких Шемякиных и Церетели.

Он — все. Для всех академий. Для всех вечеров и чтений публичных. И в СМОГе он — все. Сам он — и есть СМОГ.

Вот ведь как в жизни бывает!

Послушал его Аркадий — и сразу, без церемоний, на три известные буквы, три, как в его псевдониме, да только народом любимые и потому доходчивые до всех, в том числе до него, без промедленья, послал.

А на вечер СМОГа, устроенный Леном, он не поехал. От возмущения — дикостью и безобразием редкостным, творимым в первопрестольной неведомо кем, каким-то, при бабочке и в костюмчике, лжеакадемиком, автором двадцати томов сочинений, и так далее. Из солидарности, давней, крепкой, со мной.

Зато Аркаша Пахомов — поехал. Натура такая. Предал, по существу, меня. Да и весь наш СМОГ.

Лен так Лен. Да не все ли равно было Аркаше Пахомову, когда ему очень хотелось несколько экземпляров книжки своей, выпущенной с моей, как известно, помощью, продать, а потом и выпить!..

Вот какие бывают истории.

Братцы, не было в СМОГе Лена.

И не пахло им никогда.

Самозванство сегодня в моде. Междувременье расплодило имитаторов и рвачей. Из рядов былых стукачей — лезут нынче в поэты, в писатели. В академики. В профессора. Ох, тяжелая в мире пора!..

Сказ мой прост. Сквозь все времена:

люди! не было в СМОГе — Льна!

Льна — по-русски верней. Не Лена. Промахнулся определенно со склонением псевдонима господин Епишин. Увы! Что-то есть в нем бабье. И жабье. Как у Батшева. Как у Тарсиса. Не дожидаться ему катарсиса. Даже в бабочке. В центре Москвы.)

А теперь — возвратимся к Тарсису.

К человеку-просто-кошмарсису.

Паразиту-марксисту-комарсису.

Может — фарсису. Может — коварсису.

Несомненно — вульгаро-базарсису.  
Стукачарсису. Борзописарсису.  
СМОГоварсису. Академарсису.  
Тезке Брюсова, и по имени, и по отчеству. Маразмарсису. Обобщить ли? Вспомнишь — так вздрогнешь.  
Не случайно так говорят.

Из устных воспоминаний писателя-антисоветчика.  
Из прежних, советских, лет, когда он, работник издательский, был всего лишь простым стукачом.

В данном случае — воспоминание, да какое! — о Пастернаке.  
Сводилось оно, всегда, в любых обстоятельствах, к следующему:  
«Иду я как-то по улице Горького вверх, а навстречу мне, вниз, идет Пастернак.  
Поздоровались.  
— Как дела, Борис Леонидович? — спрашиваю его. — Чем заняты?  
— Да вот, Валерий Яковлевич, — отвечает Пастернак, — курить надо бы бросить!  
И дальше пошел.  
Какой человек! Простой в обращении. Без всякой заносчивости. Доверился мне.  
Рассказал о своей проблеме!..»

Рассказ этот слышал я, наверное, раз десять.  
Как только появится Тарсис, увидит, что есть вокруг люди, а значит, и говорить можно ему, чтобы слушали все, кто рядом, только его, так сразу же и начинает:  
«Иду я как-то по улице Горького вверх, а навстречу мне, вниз, идет Пастернак...»  
Остальное вы уже знаете.

Человек — человек ли? — дрянь.  
Покороче, попросту — нелюдь.  
Это мое ощущение, давнее, так я считаю.  
Батшев с Тарсисом — очень даже интенсивно общался. Тот — был к нему расположен всегда.

Удвоенье, что ли, кошмара?  
Два — худых — сапога пара.  
Два мурла. Не разлей вода.  
Жабье-бабье в них было что-то.  
Рыбья слизь. Смесь жлобья и жмота.  
Два кошмарсиса. Тарсисобат.  
Бред, и только. Ну и расклад!..

Почему я их вспомнил вдруг?  
Да еще и Епишинолена?  
Жуть из ночи глядит воспаленно.  
Ей закрыт — магический круг.

Вы откуда, исчадья ада?  
В год Оленя бороться надо  
с жабьей нечистью. «Сгинь, пропади!» —  
говорю. Предо мной — дорога  
в феврале: от меня — до СМОГа.  
Далеко еще до итога.  
Все, как встарь, у меня впереди.

\* \* \*

...Чей-то нос, ноздреватый, утиный, длинноватый, мясистый, выглянул из-за края этой страницы, выдвинулся вперед, поворачался, туда-сюда, влево, вправо, в разные стороны, после этого вверх и вниз приподнялся и опустился, высунулся из прошлого, потом, как в дверной проем, просунулся в настоящее, осторожно придвинулся ближе, за ним — и фигура, длинная, несколько рыхловатая, полустертая временем смутным, — кто это? — Иодковский!

Иодковский. Эдмунд Феликсович.

В честь Дзержинского. Просто Эдик.

Или даже Эдюня. И так называли его приятели.

Что он делает здесь? Любопытствует.

Что он делал когда-то, в былом?

Был бессменным руководителем, почти королем столичного, вроде вполне приличного, в отличие от иных, многих, литобъединения, название коего я напрочь сейчас позабыл.

Да это и не существенно.

Важно — кто там командовал.

Важно — кто там царил.

А царил там Эдмунд Иодковский.

Помню, осенью шестьдесят третьего года, в ту пору, когда мы с ним познакомились, когда он, сразу признав меня, стал выделять из всех, — пригласил он меня к себе, на сборище, руководимое им, литобъединение.

Должны были там выступать два молодых поэта, два закадычных друга — Сережа Мнацаканян, сдержанный, положительный, с перспективой дальнейшей парень, и веселый, всегда под хмельком, компанейский Володя Шленский.

Но еще обещал там быть и слово свое сказать о стихах молодых поэтов, закадычных двоих друзей, известный советский писатель, по фамилии Жуховицкий.

Я пришел туда. Мало ли что!

Вдруг услышу я откровение настоящее? Будь что будет!

Молодые поэты читали.

Что читал тогда Мнацаканян — к сожалению, нынче не помню.

Из Шленского строчку помню: «колеса, колеса, колеса».

Это, кажется, о движении, о дороге. Глубокомысленно.

Сразу видно дорогу: колеса.

Как в кино: поезда, колеса.

И всем понятно: движение.

Мой старый знакомый Вадим Ковда, писавший стихи, по житейской своей профессии хороший кинооператор, через пару, всего-то, лет даже премию вдруг получит, за свой нашумевший фильм: в нем он снял все, что может вращаться, находиться, часами, годами, в кругообразном движении — винтики, шарики всякие, подшипники, маховики, то есть — сплошные колеса.

Шленский впоследствии вдосталь времени своего, отпущенного ему для жизни бурной, провел именно на колесах. Оказавшись, чудом возможно, в начальстве Союза писателей, он бывал непрерывно в разъездах.

Забрасывали его даже в Афганистан.

Человек, основательно пьющий, он ходил на своих двоих. Человек достаточно добрый, он даже рекомендацию однажды мне написал, от души, в группком литераторов.

Колеса, как люди считали, были всегда у него хорошенько, надежно смазанными, да и все было на мази, и карьера с колесами складывалась приличная, благополучная.

Но, всех ошарашив, он умер.

А Сережа Мнацаканян издал много книг своих.

И когда я, хоть и со скрипом, но все-таки подрабатывал в восьмидесятые годы писанием так называемых внутренних, не для печати, рецензий, в столичных издательствах, то написал рецензию положительную, надеясь человеку помочь хорошему, на его пространную рукопись, и книга его стихов, очередная, вышла.

Он потом в начальстве писательском тоже вроде бы побывал.

В перестроечные времена составлял он сборник солидный умерших поэтов, куда, по доброте душевной и сердечной своей приязни к молодым, ушедшим годам, включил и подборку большую, вернее, книжку стихов губановских и звонил мне, консультировался со мною, но вышедший этот сборник я так никогда и не видел.

На своем юбилейном, в честь полувека целого, прожитого то в кошмарах, то в радостях, вечере, в салоне с оптимистичным, согласитесь, названием «Классики XXI века», увидел я Сережу Мнацаканяна, в качестве корреспондента всем известной газеты «Московский комсомолец». Он там работал, как выяснилось, давно. И он в газете своей даже дал информацию, крохотную, со спичечный коробок величиной, не больше (так, наверное, полагается, кто их знает, поэтов, то есть журналистов, трудно сказать, кто есть кто, посреди междувременья, или, как я его называю, с огорчением, как бы времени, как бы, как бы, сплошное как бы, да и все тут, читай как знаешь, понимай как хочешь, все как бы, кроме, так я скажу, настоящего, в жизни, в речи родной, в поэзии, в душах наших, в наших сердцах, в наших судьбах, в наших поступках, и любви, и надежде, и вере, и всего человеку, без как бы, дорогого в мире безумном, и на склоне былого столетия, и в начале столетия нового, может, будет оно посветлее, дай-то Бог), о моем вечере.

Но все это было — потом.

А сейчас отчитали поэты стихи — и с трепетом ждали, что же скажет об этом серьезный, приглашенный сюда специально, писатель, по всем статьям, по фамилии Жуховицкий, кажется — специалист по молодежным проблемам, с довольно приветливым видом, с умным лицом сидевший рядышком с Иодковским.

И сказал Жуховицкий, писатель, что стихи у поэтов хорошие, что поэтов ждут впереди наилучшие перспективы, но его, знатока молодежных проблем, глубоко поразила и запала в душу ему навсегда грандиозная строчка, одна из вершин поэтического обобщения и прозрения: «Колеса, колеса, колеса».

С тех пор, как вы сами видите, колеса эти всюю закрутились и завертелись, у всех, понятно, по-разному.

После осени, проведенной, столь бурно и столь интересно, что ее сияние светлое, сияние, не свечение, это важное ощущение, слияние с миром новым, прекрасным, но и суровым, осталось в душе моей, измученной и бесчасьем, и нынешним, обезличенным, без особых примет, междувременьем, с его суетой тусовочной, бессмысленной, навсегда, после осени знаменательной, проведенной мною, впервые, без всякой ненужной

опеки, с полнейшей свободой, в Москве, со столицей простившись временно, возвратиться решив обязательно, потому что лишь здесь была жизнь, вроде той, легендарной, парижской, я уехал к себе на родину, по шевченковской точной формуле — на Украину милую.

И там, работая в школе, писал свои новые книги.

Я и в юности их писал. Мышление было такое. Мыслил я именно книгами.

И сейчас мыслю именно книгами.

В данном случае — вижу эту книгу, которую я сейчас пишу. И не только вижу, внутренним зрением, всю ее, но и слышу. Ее звучание слышу.

С чем сравнить это? Может, с неким кристаллическим образованием.

Наподобие сотов пчелиных представляется мне она.

Только эти соты — звучащие.

И кристаллы — конечно, магические — вместе с тем и полифонические.

Такова уж природа творчества.

Сорок с лишним творческих лет — это что-то да значит, поверьте!

В шестьдесят четвертом году Иодковский, узнав о том, что живу я теперь в Москве, стал общаться со мною частенько.

Позвал меня как-то с собой.

Вечер, что ли, предполагался какой-то очередной, с вечными этими чтениями стихов, — я точно не помню.

Но поначалу зашли мы с ним, с Эдмундом, с Эдюней, в какой-то дворец культуры, где, как оказалось, были у него дела неотложные.

— Дорогой наш Эдмунд Феликсович! — бросилась тут же к нему шустрая, полная, кудреватая, розоватая, белокожая, с тонкими кольцами на припухших коротких пальцах и серьгами тяжеловатыми в крупноватых, плоских ушах, в кофточке новенькой, с пуговками перламутровыми, общественница. — Мы вас так ждем, так ждем! Без вас мы прямо горим! Нам позарез нужны тексты, в стихах, конечно, какие лишь вы один сочинить, я надеюсь, можете, нет, я верю, что вы единственный, кто способен их сочинить, в наше время, для выступления пионеров, на будущем празднике!

— Сейчас мы займемся этим! — спокойно и просто, с достоинством, ответил ей Иодковский.

Мы прошли с ним в тихую комнату, со шкафами, в шеренгу сдвинутыми, с диванами и столами, с графинами и стаканами на столах, со знаменем бархатным в красном, почетном углу и с лозунгами на стенах.

— Приготовьтесь! — сказал Иодковский кудреватой, пухлой общественнице. — Берите бумагу и ручку. Будете, как обычно, тут же за мной записывать.

Общественница кудреватая мгновенно все приготовила.

— Ты подожди, Володя, — сказал мне отрывисто Эдик, — минут через двадцать, не больше, я уже освобожусь. Тогда и поедем дальше.

Я устроился на диване и настроился на ожидание.

— Я готова, я вся внимание, дорогой наш Эдмунд Феликсович! — бодро, как на собрании партийном, довольно лихо, звонко, с явным задором, с готовностью вечной к труду, во имя отчизны нашей великой, отрапортовала полная, кудреватая, ставшая вдруг деловитой, как ударница на производстве, собранной в жесткий комок, с обостренными слухом и зрением, с авторучкой в руке и с бумагой на столе наготове, общественница.

— Так, — сказал ей Эдюня, — поехали!..

Он встал, герой целины, воитель времен хрущевских, на фоне знамени бархатного в красном, почетном углу и лозунгов, прикрепленных на всех четырех стенах, длин-

ный, с утиным носом, несколько юмористически нацеленным, с подковыркой, на чрезмерно патриотическое, с перебором большим, гулливеровским, оформление тихой комнаты.

И открыл свой ораторский рот.

И торжественно произнес, вдохновляясь, первую фразу:

— Должен каждый у нас пионер...

После чего Эдмунд не закрывал свой рот ровно двадцать минут — и без единой запинки, ни секунды над произносимыми строками не задумываясь, продиктовал общественнице все позарез ей нужные, пионерские, к празднику, тексты.

По истечении четкой двадцатиминутной своей, адресованной пионерам всей страны советской диктовки он тут же автоматически захлопнул, с замочным щелканьем зубов желтоватых, рот — и перевел дух.

Я смотрел на него, Эдюню, будто на марсианина.

Общественница кудреватая была совершенно счастлива.

Раскрасневшая, ликующая, она, изловчившись, сунула Эдику скромный конвертик.

— Примите, Эдмунд Феликсович! — прошептала тихонько она. — Как и договорились. Вот. Большое спасибо!

— Мерси! — сказал ей Эдюня и сунул конвертик в карман.

Мы вышли с ним в осень, на улицу, намереваясь ехать вместе куда-то дальше.

Чтобы вертелись, наверное, вовремя, щедро смазанные очередные колеса.

— Подрабатываю помаленьку! — поделился со мной, не стесняясь, одним из своих небольших секретов существования в мире, прекрасном и яростном, как известно, Эдмунд Иодковский. — Какой-никакой, а доход!..

У него было много жен.

И вроде бы много детей.

Жен он менял регулярно. И некоторых я видел.

Детей его — не припомню. Но может быть, тоже видел.

Все спуталось, перемешалось.

Колеса, колеса, колеса.

Слишком уж часто видел я тогда — его самого.

Его, в счастливую пору востребованное властями, комсомольское и целинное, песенное, былинное, эпохальное, бурное творчество было уже в прошлом.

Бывший лауреат нашумевшего фестиваля молодежи и вроде студентов, он не выбился в те, счастливые для него, хрущевские годы, не вылез наверх, подобно предприимчивому Евтушенко, гражданственному Рождественскому и дозволенному властями авангардному Вознесенскому, которые были помладше по возрасту, но оказались похитрее и пошустрее.

А может быть, просто пороходу не хватило. Да и таланта.

Не нам об этом судить.

Но зато Эдюня себя не мыслил вне литературы.

Вот он-то как раз и жил внутри пресловутого этого процесса литературного.

Купался в нем. Плавал. Чувствовал себя в нем как рыба в воде.

Нескончаемой чередой через его, популярное в столице, литобъединение, прошли поэты, известные и не очень, и несть им числа.

Был у него соперник серьезный Ефим Друц, руководивший другим популярным литобъединением.

Был еще кто-то, не помню фамилии, в «Магистрале».

И наверное, были еще.

Иодковский их всех игнорировал.

Выше крыши ему хватало самого себя и своих, что-то пишущих, подопечных.

Был он всегда не просто на своем, пусть и скромном, месте, но и в центре многих событий.

Многим он был приятен.

Многим он помогал.

Некоторые ему были чем-то обязаны.

Любил он литературу. В ней в основном и жил.

А жены его и дети, друзья его и враги — это уже приложение к литературе, в которой жил Иодковский. Эдмунд. Феликсович. Меж своими — Эдик. И даже Эдюня.

Это он затащил меня выступать, наряду с другими поэтами, в Доме Союзов.

И я там читал стихи.

Присутствовавший на этом вечере Миша Фадеев, сын автора «Молодой гвардии», мой однокурсник, специально ко мне подошел и сказал убежденно и твердо:

— Не для тебя, Володя, вся эта гоп-компания. Негоже тебе, серьезному, значительному поэту, читать в таких вот местах.

Чем навсегда отшиб у меня еще появлявшееся тогда иногда желание взять да и выступить где-нибудь в местах посolidней, покруче, чтобы приятно было.

Спасибо ему за это.

Миша Фадеев был худ и лунно-туманно бледен.

Жил он, по старой, устойчивой традиции, то ли писательской, то ли семейной просто, что больше похоже на правду, в основном у себя на даче, в Переделкине, месте известном, на свежем, насыщенном запахом сосновым, терпким, смолистым, и запахами разнотравья, для здоровья полезном воздухе, но все равно почему-то был довольно хворым и квелым.

Его матушка, Ангелина Иосифовна Степанова, знаменитейшая актриса, произвела на меня впечатление неотразимое красотой своей, выдержкой, статью, железным характером, властным, низким, богатым голосом, который, в чем я убедился спустя полтора года, так похож оказался на голос, такой же незабываемый, низкий, Екатерины Фердинандовны, матери давней, хорошей моей подруги Наташи Светловой, ныне прославленной Солженицыной.

В квартире Фадеева, в центре столицы, на улице Горького, было слишком просторно.

Дал он мне почитать, ненадолго, «Четки» Ахматовой, до революции изданные, и большой мандельштамовский «Камень» двадцатых, советских годов, поистине чудные книги.

У Миши был брат, по имени Саша, вроде — актер.

Когда напивался он вдрызг, что бывало довольно часто, регулярно, вернее, например, за компанию со своим тезкой, поэтом Сашей Величанским, то доходило дело порой и до драки, и тогда в ход шли все попавшиеся под горячую руку предметы, в частности превосходные керамические тарелки работы Пикассо, подаренные великим этим художником от души Ангелине Иосифовне во время ее былых заграничных, частых, поездок, разлетающиеся вдребезги на бесчисленные осколки, и немало чего еще из ценностей и раритетов.

Знаменит был Саша Фадеев еще и тем, что однажды поскандалил он с Евтушенко, выйдя из ресторана ВТО, и тот, разъярившись, не выдержав оскорблений, попер на пьяного Сашу, сидя в своей машине, прямо по тротуару, норовя раздавить обидчика, уничтожить его, стереть в порошок, чтоб следа не осталось, но, по счастью, все обошлось.

Миша Фадеев сам вроде писал стихи.

Бывал он и в Коктебеле. Выпивал. Загорал. Купался. Жил, конечно же, в доме творчества, для писателей, не для нас, молодых скитальцев, богемы, живших, помнится, кто в палатке, кто неведомо где, но зато упоенных полной свободой и счастливых тогда, потому что было счастье наше реальным, непридуманным, очевидным, да и радость была когда-то несомненной, как и надежда, как и вера, как и любовь.

Однажды он приютил меня в Переделкине, разрешил мне заночевать в сторожке возле дачи, скромном строении, на пустом лежаке, без всяких там простыней, одеял, подушек, но и за это, в годы бездомии своих сплошных, был я ему благодарен.

Сейчас, когда умерла Степанова, дачу фадеевскую у Миши вмиг отобрали.

Много ведь накопилось писателей нынешних, то есть деятелей междувременья, жаждущих ухватить, поделить на куски, поскорее, как Советский Союз делили, добротные дачи, в которых жили десятилетиями и творили свои нетленки советские, прежние, классики.

Мишу Фадеева изредка видел я в восьмидесятых, в издательстве крупном, «Советский писатель», где он, потихоньку, как выяснил я с запозданием, работал давным-давно, в должности, мне неведомой, называемой им «синекурой», в издательстве странном, где восемь с половиной лет, по Феллини прямо, лежала моя рукопись, вместе со всяческими, хвалебными, рекомендательными, рецензиями и редакторскими заключениями, и я все ждал, годами, когда же выйдет книга, и встреченный там случайно Миша Фадеев давал мне советы дельные, и годы шли, ну а книга так и не вышла, и я, плюнув на все, осерчав, просто пришел и забрал свою рукопись из издательства.

А вскоре и перестройка закончилась, и пора свободного книгопечатания подоспела, и вышли все-таки большие книги мои, без всяких «Советских писателей».

Мишу Фадеева помню в Переделкине, в семьдесят третьем, когда он меня приютил, говоря, что болеет, никак не заснет, и я вспомнил, что есть у меня с собой седуксен, и дал ему эти таблетки, и он их давай глотать («колеса, колеса, колеса!»), и шумели сосны в июне, и думал я; ну, отосплюсь, а завтра куда деваться? — и потом приютили меня, вместе с дамой, с которой я был, переделкинские доброхоты, а с утра накормили рыбой, ими выловленной в пруду переделкинском, да и выпить предложили, и я, благодарный, говорил с ними и выпивал, а потом, простившись, уехал в электричке в Москву (колеса!), вспоминая Мишу Фадеева, и его чудесную дачу, и занятную гостеприимность, и тарелки работы Пикассо керамические (колеса!), разбиваемые беспечно в шумных пьянках, в былой гульбе золотой молодежи столичной, и его призыв: не читать в недостойной компании мне, а читать там, где ценят меня и, наконец, понимают.

Но куда же теперь подевался Иодковский? Да вот он, здесь.

Эдик очень меня ценил, что само по себе приятно.

А занятно то, что близки ему были самые ранние мои, еще до Москвы, до осени шестьдесят четвертого года написанные, многочисленные стихи.

В смогистский период он стихи мои, с их новизною, которая, например, Сапгиру, или Наташе Горбаневской была близка, и понятна, и дорога, — просто не понимал.

Интересно ему — да, было.

Делал вид, что, вроде бы, ценит.

Но — что делать! — не понимал.

И однажды его прорвало.

Весной, в шестьдесят шестом, пришел я к нему домой, вместе с юной своей женой тогдашней, Наташей Кутузовой.

У Эдика Иодковского находился Саша Аронов, поэт, с большого похмелья.

Эдик тогда как раз с грехом пополам прочитал, с пьяных ли глаз, не знаю, книги мои самиздатовские.

И давай меня вдруг допрашивать:

— А что это? А вот это? А это как? А вот это? Ну, не понимаю, и все тут! Объясни ты мне, объясни!

— Зачем объяснять? — удивился я, выслушав эти вопли. — В стихах все и так уже сказано. Не сейчас поймешь — так потом. Спешить мне, право же, некуда. Могу ведь и подождать. А не поймешь — и не надо. Другие поймут. И сейчас понимающих предостаточно. А позже, смею надеяться, станет их еще больше.

— Нет, никак не могу понять! — все равно твердил Иодковский. — Не доходит, и все. Ну хоть тресни! Может, я не способен понять?

Вышел к нам слегка протрезвевший, раскудрявый Саша Аронов.

Похмелился, наверно, да все же оказалось этого мало.

И поэтому был он зол — вообще на все в этом жутком, бездуховном и беспросветном, как ему с перепою казалось или, может, от недопития, трудноватом для жизни мире.

— Стихи, стихи! — разобиженно зафыркал он, заурчал. — Сколько можно? Стихи да стихи! Понимают, не понимают. Ох, уж этот Алейников! Ишь ты! Ох, уж эти смогисты! Поди ж ты! Все о них говорят, говорят. Будто, кроме них, никого и нету! Да у меня, — тут он встал, по-спортивному, в позу древнегреческого героя, и очень был он смешон, коротенький, потный, курчавенький, взъерошенный весь, измятый, с негритянским приплюснутым носиком, с вывернутыми наружу, толстыми, лиловатыми, потресканными губами, с круглыми, красноватыми, выкаченными глазами, — да у меня, — он сделал вдох, — у меня, — он сделал выдох, — да у меня, — стал он вдруг багроветь, — да у меня три тысячи, — он побледнел и выпалил как можно громче: — Написано!..

И гордо, мол, все этим сказано, дикси, чао, гуд бай, до побачення, арриведерчи, покедова, удалился в соседнюю комнату.

Через двадцать два года, узнав, что Саша Аронов работает, преспокойно, давно, в «Московском комсомольце», где, вроде, заведует газетным отделом поэзии, я вместе с моей женой Людмилой, женщиной мудрой, наделенной редкостным даром видеть людей насквозь и наперед предвидеть если не все, то многое, в надежде, что старый знакомый поможет мне напечататься в трудную для меня и даже опасную пору, когда мне, кровь из носу, требовалось доказать меня донимающим властям, на живом примере, что я человек не только творческий, но еще и, как у них, у властей, полагается, хоть нечасто, но издающийся, пришел, созвонившись вначале с Ароновым, согласившимся повидаться, к нему, в редакцию, с пачкой отменных стихов семидесятых годов, на всякий случай прихваченной, мало ли что, с собою.

Саша Аронов нас встретил, можно сказать, приветливо. Коротенький, круглоглазый, с негритянским приплюснутым носиком, шевеля губами своими толстыми, что-то пришептывая, он быстро-быстро листал всю мою пачку стихов.

— Так. Так, так, так. Хорошо, так, так, так, хорошо, замечательно! — и с ловкостью Акопяна, повсеместно известного фокусника, все откладывал и откладывал, и куда-то потом перекладывал, тасовал, просматривал бегло, раскладывал на столе и снова складывал в стопку, и выдергивал из нее, наугад, листки со стихами, покуда вдруг не добрался до листка, последнего самого, с коротким, всего-то в десять пружинистых, емких строк, из цикла осеннего давнего, трагическим стихотворением. — А вот это у нас пойдет! — воскликнул он оживленно и сунул листок отобранный не глядя в ящик стола. — Это мы напечатаем!..

Попрошались тогда мы с заведующим газетным отделом поэзии.

Вышли с Людмилой на улицу.

Побрели потихоньку к метро.

— Если он и напечатает это стихотворение, то текст его, уж поверь мне, обязательно исказит! — сказала, вздохнув, Людмила.

Стало мне грустно. Я вспомнил, как осенью шестьдесят четвертого попросил он, каждого по отдельности, поначалу, меня и Губанова, ну а несколько позже, решив, что это не помешает, и обоих нас, вместе, вдвоем, выбрав для этого время и место, вполне подходящее, на Садово-Каретной, конечно, где же еще в столице нашей, если не там, в доме гостеприимном, друзьям и знакомым открытом всегда, у Алены Басиловой, прийти на его чтение, в редакции всем известного в ту пору журнала «Юность», от которого, он говорил, тогда зависело многое, и мы обязаны были его поддержать морально, по-дружески, чтобы он чувствовал себя поспокойнее там.

И мы с Губановым вняли просьбам его — и пришли.

Аронов невероятно, так, что смотреть было страшно на него, дрожащего, нервничал.

Бегал несколько раз в буфет «гадючника», то есть Центрального дома советских литераторов, ЦДЛ, принимал там очередную порцию коньяку.

Весь раскраснелся. Стал свекольно-красным, потом багровым, потом лиловым.

Все время на нас поглядывал: вы поддержите, мол, братцы.

И мы его поддержали.

И чтение состоялось.

Повлияло ли как-нибудь оно на его публикации, до сих пор не знаю. Не спрашивал.

Только Саша нам был благодарен.

Да и нам, коль на то уж пошло, приятно было его, поэта, приятеля старшего, человека вроде хорошего, почти своего, почти, не совсем своего, это разные понятия, с должным вниманием, как и следовало, послушать.

Я виделся с ним иногда, в шестидесятых годах, все у той же Алены Басиловой.

Там однажды такой был случай.

Саша был человек пьющий.

В этот раз, вожжа ли под хвост попала ему, или выпил с перебором, или не в духе был, возможно, кто его знает, он поспорил с Мишей Деза.

Миша, худой, темпераментный, длинноносый, со своеобразным чувством юмора, но еще и весьма ироничный, едкий, колкий, непредсказуемый, со всяческими парадоксами, с причудами, завихрениями всевозможными, с пируэтами, вроде обэриутских, алогичных, известен был тем, что свою еврейскую фамилию он, женившись на француженке, сразу сменил на французскую, а потом и уехал во Францию, кажется, а знаменит был тем, что, еще до своей женитьбы на француженке, ошастливленной навсегда суперменом столичным, трахаться он любил преимущественно в необычных, лучше всего в экстремальных, без малейших признаков скуки, с элементами риска, условиях, для чего, на пару с подружкой, проникал на аэродромах в самолеты, к отлету готовые, залезая в люки и прячась в грузовых отсеках, и там-то, уже в воздухе, между небом и землей, посреди чужих рюкзаков, чемоданов и сумок, занимался с подружкой любовью, и потом, долетев куда-то, вылезал из люка, тишком, на каком-то совсем незнакомом летном поле, вместе с подружкой, по дороге уже прикидывая, как бы им оказаться в условиях еще более невероятных.

И вот этот Миша Деза, супермен, в споре с Сашей Ароновым, для пущей, видать, убедительности, кричал поэту: «Ну, хочешь, так поимей меня в задницу!», — чем глупо поразил тогда пришедших со мною дам.

А Саша Аронов, довольный, что в споре он победил, с торжествующим видом, умело, открывал уже, вождельно причмокивая языком, бутылку водки, и лил в стакан ее, и выпивал залпом, не морщась, и пел потом известную песню свою:

— Если у вас нету тети... думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь!..

И Миша Деца с восторгом внимал ему, подпевая, и хмель, захлестнув их обоих, заставил двоиться, троиться и ссоры их, и куплеты, и вроде бы их самих, пока не растаяли оба за шумной Садово-Каретной, где, может быть, на обоих нашел какой-нибудь стих...

И Саша Аронов, надо же, напечатал-таки мое, короткое, десятистрочное всего-то, стихотворение у себя в газете, в «Московском комсомольце». Памятной нам с Людмилой осенью семьдесят восьмого — начального года нашей совместной с ней жизни.

Шли мы с Людмилой по улице.

И вдруг она подошла поближе к газетному стенду.

И зовет меня, поотставшего слегка, поскорее к себе.

Смотрю — чудеса, да и только, вот оно, стихотворение, вроде — мое, напечатано.

Причем, что меня поразило, даже на скромном пространстве в десять всего-то строк умудрился Саша Аронов прогуляться довольно лихо, с присущей ему, хмельной, но вполне деловой, активностью.

Кое-что было им подправлено, да так умело, что вся выразительность потерялась.

Вот что значит — годами сотрудничать в советских, иезуитских, по ухваткам своим, изданиях.

Уметь это надо — запросто, играючись, между делом, на всякий случай, по правилам, отработанным десятилетиями, одобренным, утвержденным кремлевским, знать, занебесьем, а может, и зазеркальем каким-то, кто его знает, что там оно скрывает, все ведь у нас бывает, все ведь у нас, ребята, не так, — обезличивать тексты.

Школа. Выучка, да какая.

Плюс еще кое-то. Например, желание: досадить.

Уязвить втихаря. Со вкусом.

Удивился я, помню, тогда ювелирной работе ароновской.

Махнул я рукой на выставленную всем напоказ газету — и ушли мы с Людмилой, моей дорогой женой, восвояси.

Нет, ароновские, с подковыркой, на два фронта, и вашим и нашим, штучки всякие, без кавычек, в комсомольской, советской прессе — это, братцы мои, современники и читатели, не для нас.

Мне сказали: он умер, Аронов.

Что же делать! Пил. Вот итог алкогольных бредней. Инсульт.

Издal, говорили, стихи, книгу, с названием, точным для него, «Островок безопасности».

Годами, кажется, вел колонку свою в «Московском комсомольце», где, в рамках дозволенных, кучеряво шутил, острил, с ядовитым прикусом язвил, иронизировал всласть.

Что ни год, с постоянством редким, давно вошедшим в традицию, на праздники новогодние по телевизору крутят рязановский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром», и с экрана вновь раздается все то же, всем нам знакомое, из Алениной, помнится, комнаты улетевшее в шестидесятых неизвестно куда и зачем:

— Если у вас нету тети... иметь или не иметь...

Но что же Эдюня? — вы скажете.

Но где же Эдюня? — вы спросите.

Но как же Эдюня? — воскликнете.

Да вот он. Никак не уйдет. Стоит, дожидаясь рассказа о нем. Нос — и рост. Бровь — и глаз.

После былых своих, комсомольско-целинных, триумфов, с их коронным номером, песней «Едем мы, друзья, в дальние края...», Иодковский, Эдмунд, продолжал, уж не знаю, часто ли, редко ли, но все же писать стихи.

Вспоминаю довольно смутно, что была у него «Аэлита», когда-то весьма популярное в столице стихотворение.

И еще почему-то любили в начале шестидесятых годов называть «Аэлитами» молодежные, расплодившиеся тогда повсеместно кафе.

Помню также известную многим, выразительную, по ритму динамичному «Оду пишущей машинке», где обстоятельно рассказывалось, как Эдик шел однажды ночью в Москве и нес машинку свою пишущую, в футляре, тяжелую, и к нему привязались вдруг хулиганы, и тогда он дал им решительный отпор, и они бежали, и победа была за Эдиком, и звенела жаркою медью труб играющих оркестровых, и гремела вовсю барабанами, и в литавры била торжественно знаменитая в прошлом строчка:

«И машинкою — по башке!..»

Остального, увы, не помню.

Эффектная вещь. Эпохальная.

Эдик всегда читал ее громко, с большим подъемом.

А когда доходил, читая, до своей классической строчки «И машинкою — по башке!», то наглядно всем демонстрировал, как он делал это когда-то: машинку воображаемую крепко сжимал в руке, примеривался, размахивался — и с богатырской силой обрушивал страшный удар на головы хулиганов: бумм! — отчего всегда жаль мне было машинку.

Слишком долго, чуть ли не дольше, чем у всех его многочисленных приятелей и знакомых, недругов и друзей в Москве, у него так и не было собственной изданной книги.

На заре свободы, в начале девяностых, книжка стихов его наконец-то все-таки вышла.

Но читать в ней, собранной вроде бы из разрозненных лоскутков, из осколков чего-то прежнего, что ушло навсегда, — было нечего.

Написал он однажды роман. Так ли это? Его я не видел. Никогда не читал. Допустим, был написан им этот роман.

Вспоминаю, как навестил он, возможно — из любопытства, а может быть, и по-приятельски, как в прежние годы, нас, в нашем Новогирееве, в однокомнатной тесной квартире, где жили мы вчетвером, вся семья наша, мы с Людмилой и наши дочери маленькие.

Заявился он — с новой женой.

Говорил, что пишет роман.

Взял у меня на прочтение огромную пачку новых стихов, сказав, что вернет, да так их и не вернул.

Ничего. Я привык давно уже к такому вот проявлению человеческого внимания, в кавычках, конечно, ко мне.

Хотя такое уж свойство есть у моей памяти, действительно многое помню.

Например, в шестьдесят четвертом, осенью, взял у меня Саша Юдахин, сказав, что берет совсем ненадолго, книгу Андрея Платонова и вышедшего в десятых годах двадцатого века увесистым томиком Ницше, «Так говорил Заратустра», в роскошной супер-

обложке золотого, закатного цвета, и я ее снял тогда, а книгу отдал Юдахину, и многие годы прошли, но он эти книги, обе, так мне и не вернул, и только суперобложка, закатная, золотая, от Ницше, роскошная просто, представьте, цела до сих пор.

В период СМОГа, когда начали нас громить и всячески изничтожать, когда меня выгнали вместе с Михаликом Соколовым из МГУ, а в придачу еще и из комсомола, Эдик-Эдюня-Эдмунд Иодковский нас пригласил пожить у него на даче, в пустынной деревне Игнатово, вблизи от станции Икша, и это я оценил, был ему благодарен за кров, потому что уже тогда шевельнулось во мне предчувствие грядущих моих бездомии, — и там, в деревне Игнатово, был деревянный дом, и пруд, и леса, и канал с проходящими вдоль домов и лесов окрестных судами, был май, все было в новинку мне, и я отдышался немного, хотя и не успокоился, и растапливал печку, смотрел на пламя, варил картошку, писал, то стихи, то письма, — но, впрочем, об этом я говорю немного, в другой книге своей, — и, может быть, расскажу еще, по наитию, там, где чуть подсказет, в нужном месте и в нужное время.

Иодковский — имел отношение к СМОГу. Он — приветствовал СМОГ. Привечал нас. Меня, например, приютил у себя на даче. Устраивал выступления. Умело пропагандировал сочинения давние наши.

Был добр и ко мне, и к Губанову.

Был и внимателен к нам.

С пониманием настоящим не всегда у него получалось.

Но ведь это простительно. Всякому пониманье свое дано.

На заре междувременья стал он демократом. Газетой заведовал. Но меня в ней он не печатал. Хорошо, что печатал Чанышева.

А потом Эдик — умер. Нелепо. Говорили: его убили. Так ли было? Да кто его знает! Задавил его грузовик.

Эх, «колеса, колеса, колеса»!

Что за жизнь? Сплошные вопросы!

Время давнее смотрит косо.

Но зовет, срываясь на крик...

\* \* \*

...Ночью, то ли в конце зимы, то ли в самом начале весны девяносто шестого года, меня, с превеликим трудом, совсем недавно, заснувшего, разбудил телефонный звонок.

Телефон звонил так отчаянно и так почему-то громко, что тяжелое, неминуемое, ледящее душу, ворвавшееся в мысли мои, предчувствие чего-то непоправимого пробудилось во мне мгновенно, и сердце болезненно сжалось.

Я снял трубку поспешно:

— Слушаю!

В ответ раздался такой знакомый, усталый голос:

— Это я, Димка, Дима Борисов. Слушай, Вовка, давай приезжай, прямо сейчас, немедленно, ко мне. И всех наших с собой позови. И Губанова тоже.

Что-то слишком уж острое в сердце снова, боль причинив, кольнуло, резануло сильно, прошлось, по живому прямо, жестоко, вместе с кровью хлынув к вискам и к затылку, вдруг ужаснув.

— Ты что, Димка? Ночь, уже поздно... Да и чувствую я себя неважно совсем. Давление. А Губанов — он умер давно.

- Да... — протянул Дима. И помолчал. И потом, грустно: — Ну приезжай!
- Давай нашу встречу отложим до утра! — сказал ему я.
- Да... хорошо... до утра... — пробормотал Дима.

Я положил трубку. Встал. Закурил. Походил по комнате. И призадумался.

Что бы все это значило?

- Кто звонил? — спросила спресонок Людмила, моя жена.

— Димка Борисов, — ответил я хрипло и беспокойно. — К себе почему-то зовет. Очень просит прямо сейчас приехать к нему. И хочет, чтобы я всех наших с собой позвал. И Губанова тоже.

— Он что, — приоткрыв глаза, приподнялась Людмила, — он в своем ли уме? Ведь поздно. Сколько сейчас? Посмотри. Часа три, наверное, ночи?

— Вроде того. Но знаешь, что-то не так здесь. Поверь мне. Что-то я даже в тоне его почувствовал вдруг отчаянное. Никогда он так, с шестьдесят третьего года, представь себе, начиная, себя не вел. Чтобы ночью звонить, будить? Человек он очень воспитанный. Более чем порядочный. Ты-то прекрасно знаешь, что значит он для меня все эти долгие годы. Сам тон его сразу меня смутил и насторожил. Растревожил. Нет, испугал. И эта просьба его странная — и Губанова, тринадцать лет уже мертвого, тоже к нему позвать. Что-нибудь, видно, случилось. Что-то стряслось нехорошее. Вот он меня и зовет к себе, да и всех ребятишек наших, старую нашу гвардию.

— В самом деле, здесь что-то не так, — сказала твердо Людмила. — Но ты-то прямо сейчас, ночью, к нему не поедешь ведь? У тебя давление. Ты не спал совсем. Хоть до утра-то встречу вы отложили?

— Да. Утром я позвоню ему. И приеду к нему обязательно. Раз он так необычно, впервые, среди ночи, к себе зовет — значит, надо, пойми меня, ехать.

Ночью почти не спалось.

Все мы знали, что Дима Борисов давно уже нездоров.

Перенес он инсульт. Не шуточки. Жутковатое испытание. На прочность? На выживание! Жить! Ему так хотелось жить!

Отнималась уже у него вся правая половина туловища. И он, чудом, вполне возможно, восстал из этой напасти.

Волевой человек. Упрямый.

Терпеливый. Целенаправленный.

Всю жизнь он работал, работал, а вернее сказать — вкалывал. Зарабатывал, как умел, понемногу, как получалось.

Четверых детей, героически, не сказать ведь иначе, в сложных, кочевых, грозových условиях, вырастил, двух сыновей и двух дочерей, воспитал их, несмотря на сплошные трудности, вместе с женой своей, золотой, вернейшей Татьяной.

Столько лет у него, человека блестящего, выдающегося, жизнь, которая, может быть, при совсем других обстоятельствах, была бы совсем другой, складывалась так нелепо и так всегда тяжело.

Да еще и эта его деятельность, многолетняя, упорная, правозащитная.

Дружба его с четой Солженицыных давняя, прочная.

Сколько все это ему неприятностей принесло!

Жизнь, казалось, наперекосяк шла. Но все-таки шла. Выравнивалась. Несмотря на любые сбои. Вопреки всему, что стремилось разрушать ее. Нет, она поднималась из бед всегда. Над невзгодами возвышалась. Укреплялась — и продолжалась.

Что ни день, то сплошные нервы, постоянное напряжение.

Кто все это, скажите, выдержит?

Вечная, монотонная работа ночами, для заработка.

Осложнения непрерывные, год за годом, все чаще, с властями.

И прочее, из разряда слишком уж невеселого.

Позже, когда он был какое-то время доверенным лицом Солженицына, много сил отдавал изданиям произведений его, когда он работал в журнале «Новый мир» заместителем главного редактора, хоть и вкалывал он по-прежнему, не за троих, а сразу за десятерых, верилось, что положение у него наконец-то прочное, что окреп он, твердо встал на ноги, занят делом, нужным и важным.

Как вдруг — дичайшие, тяжкие неприятности, переживания — и, как следствие, слишком жестокое, этот его инсульт.

И ведь выкарабкался из этого наваждения. Сам. Сумел.

Выпивает он, к сожалению.

И частенько. Ну, что тут скажешь?

Выпивает. Глядишь, перестанет.

Сам решает, как быть, человек.

Да еще, говорили, и новая, на его-то умную голову, навалилась неожиданно напасть.

Тромб какой-то был у него.

И в любую секунду он мог умереть. Ну что за мучения?

Приятного было мало.

То есть не было вовсе его.

Была — сплошная печаль.

Промаявшись несколько долгих, ночных, бессонных часов, как-то я дотянул до утра.

Утром — опять звонок.

Звонил уже старый друг мой, Михаил Николаевич, Миша, мы звали его Михалик, Соколов, человек ученый, состоявший когда-то в СМОГе, от богемы давно отошедший, но связи с друзьями прежних, сложных, трагических лет вовсе не прерывающий.

— Здравствуй, Володя! Тебе Димка Борисов звонил ночью, часа в три, наверное, или позднее?

— Звонил, — говорю ему.

— И мне он звонил. Знаешь, что-то здесь вроде не так. Надо его навестить. Давай поедем к нему.

Я сказал:

— Непременно поедем!

И мы с Михаликом быстро договорились о встрече.

Прошло какое-то время.

Раздался еще звонок.

Людмила сняла трубку:

— Да, говорите, я слушаю!

Звонил уже Дима Борисов.

Именно ей звонил.

Извинился перед Людмилой за свой разбудивший нас, поздний, ночной звонок.

И сказал, что надеется нынешним утром как можно скорее увидеть меня у себя.

— Володя к тебе приедет! — сказала ему Людмила.

Я заваривал чай, по традиции многолетней, привычной, устойчивой.

День у меня начинался прежде всего с чая.

Все остальное было — после чая, потом.

Надо было спешно позавтракать и уже собираться в путь.

— Поезжай поскорее к Димке. Голос теперь у него какой-то совсем не такой, как раньше. Грустный такой. Обреченный прямо. Мне даже не по себе стало. Что там случилось, не знаю. Но поехать надо тебе к нему. Не тяни. Он ждет, — сказала моя жена.

— Я уже, ты, наверное, слышала, договорился с Михаликом, — сказал я грустно Людмиле.

— Позавтракай. Чаю попей. Ты ведь без чаю никак. Только тогда, когда пару чашек выпьешь с утра, оживаешь, приходишь в себя.

— Что делать! — сказал я. — Привычка давняя. Но зато не пью, как тебе известно, столько лет, что потерял счет им, вообще ничего спиртного.

— Что верно, то верно! — охотно согласилась моя жена. — Ты у меня непьющий, со стажем, старый чаевник. Вот и твой чай настоялся. Наливай. И мне тоже налей. Перекуси хоть немножко. И все-таки ты поскорей, вновь напомню тебе, поезжай.

Наскоро перекусив, я собрался и вышел из дому.

От нашего Новогиреева до центра, до Чистых прудов, я добрался довольно быстро, как и множество раз до этого странноватого дня, на метро.

Седой, высокий, насуспенный, сутулящийся Михалик Соколов, с усами, похожими на полоску белого инея, нахохленный, как большая, в толчею людскую случайно залетевшая издали птица, пришел чуть раньше назначенного нами обоими времени и ждал меня с нетерпением у памятника Грибоедову, стоя там так, чтобы я, выбравшись из метро, сразу его заметил, обособленно от прохожих.

Чуть подергивая своими усами, коротко стриженными, и по старой привычке задумчиво трогая щеку рукой, он вздохнул и глухо сказал:

— Непокойно как-то, Володя, у меня сейчас на душе!

— И у меня непокойно на душе, — сказал ему я.

— Ты знаешь, — сказал Михалик, — Димка в последнее время пьет ведь. И крепко пьет. Хотя ему категорически этого делать нельзя. Но я вот подумал и все-таки предлагаю купить выпивку. Понимаю, что надо, и все тут, нам решиться на это с тобой.

— И я это понимаю, — сказал, соглашаясь, я.

Возле метро, в ларьке, мы купили с Михаликом выпивку.

Я настолько отвык от подобного занятия, что, поглядев на витрину, не удержался и довольно резко сказал:

— Чудеса междುವременья, право! На каждом шагу, в любое время дня и ночи, пожалуйста, покупай себе все, что захочешь. И никаких тебе жестких ограничений. И менты никого по этому поводу не беспокоят. И выбор вон ведь какой. Ты наши былые, суровые, времена, конечно же, помнишь? Тогда, чтобы, как полагается, с утра выпить кружку-другую пива, поправить здоровье, мы ехать были готовы хоть в дальний район столицы, хоть за город, все равно, лишь бы найти эти пиво. И то далеко не всегда, согласись, находили его. А мучился как народ, с похмелья! А нынче — свобода. С выпивонным делом — уж точно. Демократия. Пей, хоть залейся. Только знаешь, противно все это осознавать почему-то, во всяком случае, мне, человеку вовсе непьющему, и на все эти новшества нынешние, лицемерные, даже коварные, какие-то наоборотные, пусть в этом и не участвуя напрямую, порой смотреть.

— Да, с нашими временами теперешнее раздолье с выпивоном и сравнивать нечего, — сказал, аккуратно укладывая бутылки в сумку, Михалик.

От метро до нужной нам улицы Чаплыгина было совсем близко, рукой подать.

Вскоре мы оказались рядом с угловым борисовским домом.

Дима встретил нас по старинке, то и дело перемежая свои восклицания радостные, густые, баритональные, с дружескими, от души, крепкими, как полагается, искренними объятиями.

Был он не просто давно уже взбудоражен, или же взвинчен, или, если попроще, с похмелья, — нет, видно все-таки было, что храбрится он из упрямства, по старой, как говорится, памяти, чтобы по новой и себе самому доказать, и нам заодно показать, что он еще ого-го какой, и горы свернуть в состоянии, и силы, как прежде, при нем, и вообще, ребятки, жизнь, между тем, продолжается, и так хорошо, что мы встретились вновь, и все распрекрасно, мы в порядке, и он в порядке, и теперь вот можно, пожалуй, в кои-то веки, по-свойски, по-дружески, нам пообщаться.

Но в глазах его, карих, влажных, я увидел почти не скрываемое ожидание постоянное чего-то непоправимого — там, впереди, вдалеке.

И Михалик это заметил.

И хотя и разыгрывал Дима этакого развеселого, удалого столичного баловня, всеобщего многолетнего любимца, хозяина дома и господина своей, а не чьей-то другой, судьбы, к тому же и нашего кореша, старинного друга нашего, что-то в его поведении не просто меня настораживало, но даже слегка отпугивало, по крайней мере, немедленно заставляло уже призадуматься: что это с ним такое? что происходит с ним? — отчаянная маскировка его никак не скрывала нешуточного смятения, наверняка мучительной, ежесекундной тревоги, и никакие бравады не помогали ему казаться таким вот, здоровым, оптимистичным, как прежде, блестящим юмором, сильным, талантливым, сверхэрудированным, по всем статьям человеком особенным, просто блестящим, созданным для выдающихся деяний, соратником, лидером, вдохновителем нашим, звездой всего поколения нашего, как это было когда-то, и он, все мгновенно чувствуя и все насквозь понимая, по существу, ничего от нас вообще не скрывал, и только, сквозь боль, сквозь отчаяние, держался, держался, держался.

Дима сразу провел нас в самую большую, почти пустую, оттого и чрезмерно просторную, непривычно высокую комнату, где обычно и проходили нечастые, к сожалению, все реже и все короче, в годы зрелые, наши встречи.

Там уже восседал за столом бородатый, слегка растрепанный, с богатырским отчасти, отчасти же с компанейским потасканным видом, по привычке изрядно подвыпивший, неизвестно, где и зачем, и вчера, и позавчера, и сегодня, и, впрок, назавтра, потому что никак нельзя человеку такому не выпить, да и как ему нынче не пить, если пил он стабильно, всегда, и занятие это, знакомое до малейших, мельчайших деталей и ему одному известных, для других недоступных, частностей, вряд ли бросит когда-нибудь, потому как поэт он, известный всей богеме, Аркаша Пахомов — и артистически-лихо, по-мхатовски, нужные паузы выдерживая сознательно, акценты должные делая на том да на сем, постепенно убыстряя ритмы, стремясь к максимальной, полнейшей доходчивости, повышая в нужных местах голос или же понижая, в зависимости от того, как развивается действие и что за этим последует, рассказывал и рассказывал заезженные, как пластинки граммофонные, многожды слышанные, свои, с ним, наверное, сросшиеся, за долгие годы, байки донельзя измотанной, тихой, молчаливой, печальной Татьяне, Диминой драгоценной, любимой, верной жене.

Пахомов так себя вел, будто не просто порою бывал здесь, от случая к случаю, спонтанно, непредсказуемо, в основном во хмелю, по пьянке, потому что в другом состоянии крайне редко все его видели, не просто, судя по тону, по ухваткам его, по замашкам, дневал здесь и ночевал, когда заблагорассудится ему, когда пожелает он, когда припишит ему, гуляке вольному, старому, многоопытному и умелому, хорошо и давно

уже знающему, что почем в кутерьме столичной, кто есть кто и куда податься, если жаждет общенья душа, поэтическая, артистическая, алкогольная, малохольная, забубенная, выпивонная, но давно уже здесь обитал.

Татьяна, супруга Димины, совершенно бледная, худенькая, даже, может быть, не измотанная, а вконец, до предела, измученная, но сквозь все это, как ни странно, как и встарь, все еще светящаяся необычной, такой загадочной, отрешенной напрочь от будней, навсегда, как улыбка Будды, с едва уловимым, но явственным, тонким дыханием Востока, странноватой, возможно, для некоторых, несколько своеобразной, но зато и неотразимой, нерушимой своей красотой, и слушала, вроде, пахомовские, сериальные, долгие рассказы, и вовсе не слышала их.

Была она так, всеми нервами, всеми взглядами, сквозь пространство этой комнаты, вдаль куда-то, всеми вздохами, поневоле вырывавшимися из груди, всеми жестами, словно вслепую, словно в трансе давнем, на ощупь, всеми клеточками и мышцами, волосами наэлектризованными, шевелящимися губами, чуть прикушенными, зрачками увеличенными, словами, превратившимися в молчанье, небывало напряжена, что, казалось, изредка вздрагивая, звенела, как тонкая струнка.

Пахомов, герой былого, нашего с вами, времени, бывший смогист, богатырь тоже бывший, поэт, написавший стихи про крольчат, про косу Чушку, про закваску, в монастыре, но никак не в квартире московской, симпатично хрустящей капусты, овощей, а вовсе не денег, неуместен в стихах жаргон, и еще кое-что, например, про то, как он ехал к бабушке, про ленивый март, и так далее, невелик будет перечень славных пахомовских сочинений, как и ростом был невелик поэт, когда ехал к бабушке, он гораздо позже подрос и даже заматерел, став тем, кем ему, к сожалению, приходится быть, — Пахомов, придется, увы, подчеркнуть, этого, по толстокожести, может быть и защитной, приобретенной с годами, упорно не замечал, а может быть, просто искусно, артистично, как полагается, виртуозно, с фирменным блеском, делал вид, что не замечает.

Скорее всего и он понимал, что все здесь неладно, а потому, чтобы вдруг и самому сегодня не сорваться и не занервничать, старательно, добросовестно играл в своего парня, застольного балагура, выпивоху, рассказчика баек, этакое удалого, любимого здесь, молодца.

На столе стояли бутылки с водкой, пивом, крепленным вином и случайная, скромная закуска.

Мы с Михаликом, переглянувшись, дополнили этот стандартный арсенал своими бутылками со спиртным, которые мы купили в ларьке у метро, бутылками заурядными, не лучше тех, на столе, но и не хуже их.

Все, незаметно как-то, по-простому, по-свойски, по-дружески, устроились за столом.

Дима сидел на хозяйском, привычном, правильном самом, как полагается, месте, на торцевой стороне простого, длинного, старого, расшатанного стола.

Рядом с ним сидела Татьяна.

Аркадий с Михаликом, чинно, прямо, по-старомосковски, интеллигентно, сидели по обеим, длинным, как строки гомеровского гекзаметра, как пути средь бесчашья наши, с их скитаниями в пространстве, на упрямстве сплошном, сквозь время, сквозь тоску, сторонам стола.

Я сидел — напротив Борисовых.

Вынужденность нелепая, вымученность, да и только, была в этом горьком застолье.

Друзья мои — выпивали.

Я — ничего не пил.

На кухне, вначале спросив разрешения у Борисовых и сразу его получив, я заварил себе чаю.

Гора немытой посуды громоздилась и кисла в раковине.

Квартира, большая, просторная, с четырьмя отдельными комнатами, прихожей и коридором, вообще была неухоженной.

Всех четверых детей борисовских нынче здесь не было.

Дочери, обе давно уже замужем, жили отдельно.

Сыновья, оба тоже почти взрослые, где-то отсутствовали.

На каждом шагу я наталкивался на приметы какого-то слишком уж очевидного запустения.

А, мол, есть ли смысл вообще наводить здесь порядок, что-то, с глаз долой, убирать подальше, основательно чистить, мыть, переставлять зачем-то с места на место, чтоб лучше смотрелось, когда и так...

Что это за недосказанное всеми — когда и так?

В комнате, той, где все мы находились, незримо присутствовала безмолвная, скорбная тень чего-то и впрямь неизбежного.

Она, эта тень, никем не называлась по имени, не показывалась на виду откровенно, бесцеремонно, не давила на всех, никому, хитроумная, не навязывалась, — нет, она, эта тень коварная, действовала потихоньку, испытанным способом, исподволь, вкрадчиво, малыми дозами вливая во всех свой медленно действующий, но зато уж проверенный многожды яд.

И от этого, понимал я, было мало в комнате света, несмотря на шторы, отдернутые в обе стороны, от окна, казавшегося то серебряным, то ртутным, но тусклым каким-то, темноватым, то ли туманным, то ли сумеречным, но никак не утренним, со своим влажноватым, с потеками редкими, со сгустившимися внизу тяжелыми, крупными каплями, упасть, вроде слез, готовыми на раму и на подоконник, за грань, за черту покоя и уюта, холодным стеклом.

И от этого различал я где-то рядом, вблизи, подспудный, монотонный, неумолимый, словно это втихую работал часовой механизм включенного кем-то всем нам неведомым, страшным и незримым взрывного устройства, обреченно-вкрадчивый звук.

И от этих всех ощущений становилось не по себе.

Дима пытался шутить. Но юмор его, когда-то щедрый, неподражаемый, оказывался грустноватым.

Аркадий — вовсю старался развеселить компанию. Но веселья, такого, как прежде, в компании вовсе не было.

Татьяна пила вино и молчала. Потом смотрела — то на Диму, то на друзей. И опять — пила. И — молчала.

Михалик изредка брал стакан, отпивал глоток вина, через силу, морщился, сутулится и помалкивал.

Я пил свой чай, понемногу, поглядывал на собравшихся в кои-то веки вместе старых друзей — и молчал.

Наискось от стола, занимая немало места в комнате, ближе к стене, стоял таинственным островом черный большой рояль.

Меня потянуло к нему.

Зачем? Не могу объяснить.

Да и не надо, пожалуй, ничего теперь объяснять.

Скорее всего, была это просто потребность в музыке.

Необходимость музыки.

В доме. В сердце. В душе.

Спасительная возможность — с головою ринуться в музыку.

Надежда моя — на присутствие музыки в нашем застолье.

В общении нашем тягостном. В молчании и в словах.

Сел я за инструмент — и стал потихоньку играть.

Потом стал играть все уверенней и, видимо, все увлеченней.

Дима вмиг вострепнулся. Вначале внимательно слушал. Но вот, наконец не выдержав, присоединился ко мне.

Мы сидели вдвоем с ним, как в молодости, отшумевшей давно, за роялем, и уже вдохновенно, слаженно играли в четыре руки.

А потом стали петь мы с ним вместе романсы любимые наши, те, которые пели, бывало, когда-то, лет тридцать назад.

И Татьяна вдруг разрыдалась.

Она рыдала так страшно, так безумно, так безысходно, что все мы, вначале опешив, смутились и растерялись, и над головами нашими стухнуло бьющее током электрическим грозное облако напряжения.

С ней внезапно случилась истерика.

Она, побледнев еще больше, сквозь рыдания, слезы и всхлипы, глядя прямо перед собою широко раскрытыми, полными горькой, льющей влаги, глазами, непрерывно, дрожащим голосом, повторяла и повторяла:

— Он в любую секунду может умереть! Почему? Зачем? Умереть! Мне так страшно, так страшно!

Дима, слыша Татьянины причитания, помрачнел.

Бросил играть. Встал резко из-за рояля.

Подошел, качнувшись, к столу.

Налил себе водки, выпил.

Сел на свое хозяйское место, рядом с женой.

Посмотрел на нее внимательно.

Ничего не сказал. Промолчал.

Закурил, зажигалкой чиркнув машинально, свой «Беломор».

Я стал, как умел, как уж там у меня получалось, не знаю, успокаивать, понадеявшись на помощь с небес, Татьяну.

Вроде бы это, не скоро, конечно, только со временем, сделать мне удалось.

Татьяна вытерла слезы.

Махнула стакан вина.

Сразу же закурила.

И вдруг, приподняв решительно выше худых коленок взметнувшуюся и упавшую парашютиком легким юбку, вытянула свои точеные, туго обтянутые колготками, длинные ножки:

— А что! Живем помаленьку! Ножки еще у меня вон какие, смотрите! Стройные!..

И убрала их, вздохнув.

И попыталась, пусть через силу, но улыбнуться.

Но улыбка, увы, получилась какой-то совсем уж детской, смущенной, обиженной, жалостной.

Дима, сильно ссутулившись, весь как-то сжавшись, замкнувшись, уйдя в себя, отнесясь от всех и всего, на время, долгое ли, короткое ли, никто не ведал из нас, да и сам он об этом не ведал, думал о чем-то своем, потаенном, и молча курил.

А что ему было сказать нам?

Татьяна, словно цветок, тянущийся после бури к свету, к теплу, подняла зареванное лицо:

— Ну, ребятки, гулять так гулять! Наливайте. Давайте выпьем.

Пахомов разлил спиртное.

Кому, по желанию, водку, если крепость важна в напитке, а кому, если крепче напиток не нужен сейчас, и вино.

Кто выпил, а кто и не выпил.

Все уже было сказано.

Все уже было понятно.

Дима позвал нас к себе — чтобы успеть попрощаться с нами. Успел. Попрощался — молча.

Без истерик. Без лишних слов.

Голова его низко склонилась, покачавшись туда-сюда и застыв наконец в таком положении, над столом.

Видно было, насколько он весь вымотан, утомлен.

Я сказал ему:

— Дима, не пей!

Он посмотрел на меня грустно. Молча кивнул.

Я сказал ему:

— Больше не пей. Понимаешь? Достаточно. Хватит.

Он опять мне молча кивнул.

Я сказал ему:

— Дима, давай-ка отдохни. Ты слышишь меня? Может, прилечь тебе?

Он снова кивнул мне. Встал:

— Да, пойду прилягу, пожалуй. Попробую отдохнуть.

Нам пора было уходить.

Нам пора было — расставаться.

Расставаться — с Димой Борисовым.

С тем, что было дорого нам.

Там, в далеких шестидесятих.

И в нелегких семидесятих.

И в бредовых восьмидесятих.

И в расхристанных девяностых.

Сквозь любые зигзаги времени.

Сквозь любые бесчасья трудности.

Сквозь любые судьбы удары.

Сквозь любое извне вмешательство.

Расставаться. Нам. С человеком.

Расставаться. С другом старинным.

Расставаться. Сквозь день со снегом.

Разбредаться. С видом повинным.

Расходиться. В разные стороны.

Разъезжаться вновь — кто куда.

Все трагичное — вовсе не поровну.

Расставаться. Знать, навсегда.

Как беду — изгнать, победить?

Нам пора было — уходить.

Я сказал об этом Аркаше и Михалику, напрямую.

Друзья мои и соратники по былым, смогистским в особенности, подвигам, по Таманской экспедиции, по скитаниям южным, столичным и прочим поняли — и поднялись.

Я сказал:

— До свидания, Дима!

Он ответил мне, как и встарь говорил:

— До свидания, Вовка!

Я сказал:

— Поправляйся, Димка! Приходи в себя поскорее.

Он сказал мне тогда, встрепенувшись:

— А помнишь, ты говорил мне, это ведь ты говорил мне, что считаешь меня человеком уровня Чаадаева!

Я сказал:

— Ну конечно, помню. Это я говорил тебе. Так я считаю. Давно. И ты ведь знаешь об этом.

Дима сказал:

— Да, знаю.

Я сказал ему:

— Поправляйся. Выздоравливай, Дима. Все будет, вот увидишь сам, хорошо.

Он сказал:

— Постараюсь. Попробую.

Я сказал:

— До свидания, Дима!

Он сказал печально и просто, посмотрев мне прямо в глаза:

— До свидания, друг! Прощай!..

Тяжело было с ним расставаться. Тяжело было мне идти по московскому рыхлому снегу, по ледку, песочком желтеющим и багровою солью какой-то чуть присыпанному, по маршруту, столь знакомому и такому почему-то слишком короткому, от дома его до метро.

Влажный воздух столичный в легких хлопотал. И в небе, казалось, накопился избыток влаги да и выплеснулся через край. «До свидания, друг! Прощай!..»

...Как-то сразу, мгновенно, возможно, по волшебству, а может быть, в силу воображения, пробудившегося внезапно, вместе с памятью, озаренной золотым сиянием былого, я увидел себя в январе шестьдесят четвертого года.

Сильный мороз. Такой, что мерзнул я основательно.

Много снега. Москва — в снегу. Снег вокруг. Изобилье снега.

Впечатлений разнообразных у меня, в Россию приехавшего с Украины своей ненадолго, чтобы здесь, в столице январской, погостить, побродить, надышаться духом воли желанной, на будущее, про запас, повидать друзей, разумеется, тоже много.

И курьезов немало всяких между делом припоминаю.

Например, вот забавный случай.

У меня разболелся зуб. И я, фантазер отчаянный, чтобы его заморозить понадежнее, основательно, чтобы от боли избавиться немедленно, прямо сейчас, на московской холодной улице, среди снежных сугробов и скользких ледяных дорожек разъезженных, среди людей, потеплее одетых, по причине сильных морозов, съел восемнадцать

порций мороженого «Эскимо» — по числу своих прожитых лет. Каждая порция — плотненький, с оболочкою шоколадной, белый внутри, холодный круглый батончик на палочке деревянной — всего-то одиннадцать прежних, советских копеек. Восемнадцать порций — считаем — рубль девяносто восемь копеек. И боль — прошла. И горло не заболело.

Рассказал я об этом чуде другу Диме Борисову.

Он искренне удивился: действительно, чудеса!

Новое в стоматологии.

Лечение по-алейниковски.

В морозы такие — мороженым.

Без всяких прочих лекарств.

Без вмешательства зубодерского в жизнь поэта, в Москву приехавшего.

Прилетевшего даже. Чтоб выкроить больше времени. Самолетом.

Боль зубная некстати совсем для меня в январские дни.

Никакая боль не нужна мне сейчас. В том числе и зубная.

Это позже Леня Губанов целый сборник стихов посвятит не чему-нибудь поприятнее, не какому-нибудь человеку дорогому, но вопреки всем традициям и канонам надоевшим — боли зубной.

Для меня же важна была — радость.

Та, с которой сроднился я, сросся — с незапамятных, давних времен.

Та, которую нынче отняли у народа — и продолжают отнимать остатки ее.

Та, которую сохранил я, сквозь невзгоды пройдя, в душе.

Радость. Это великая сила.

Негасимый, космический свет.

Честь и власть. Весть о том, что было.

Для грядущих времен — завет.

Я жил у Димы Борисова.

Квартира была большой.

Высокие, по-советски, — чтобы воздуха было больше и простора в доме, где греются, вполне вероятно, кому-нибудь, все возможно ведь в мире этом, полном тайн, до сих пор не разгаданных, светлое наше грядущее, в котором уже различим призрак, давно покинувший Европу и переселившийся в Россию, призрак хрущевского, через двадцать лет нам обещанного, всеобщего коммунизма, — добротные, высоченные, метра три, и никак не меньше, в высоту, а то и побольше, буржуазные потолки.

Светлые окна. С добротными, сработанными на совесть, двойными широкими рамами деревянными, с толстыми стеклами. За окнами — сквер. А в сквере — деревья в белом снегу.

Широкий, не то что в каких-то простецких пятиэтажках, удобный во всех отношениях, спланированный идеально, по меркам советского времени, внушительный коридор.

Несколько расположенных в разных концах квартиры, просторных, каждая с дверью отдельной, с отдельным окном, автономных, прекрасных комнат.

В них легко и свободно размещались родители Димины, жившая с ними бабушка и сам он, друг мой Борисов.

Хватило места в квартире, понятно, и для меня.

Ночевал я на раскладушке, в собственной Диминой комнате.

Дима ложился обычно почивать на своей тахте в этаким комбинезончике, надеваемом им в холода вместо обычного нижнего, привычного всем белья, присланном

из Германии живущей там со своей семьей его сестрой, как и одежда прочая, которую он носил с некоторым шегольством, но небрежно, вполне по-богемному, выделяясь всегда из студенческой, неважно одетой орды, и не только там, но, в особенности, в столичной толпе, где немедленно привлекал внимание общее заграничным видом своим.

Снимал очки. Потирал переносицу. И зрачки его расширялись, до смоляной, с жаром внутренним, черноты.

Темнея крупной курчавой головой на белом, с тенями темно-синими, фоне подушки, сначала какое-то время рассуждал о том да о сем.

Потом, незаметно, крепко, по-детски, ровно дыша, порою на полуслове недосказанном, засыпал.

Просыпался утром Борисов с бодрими прибаутками.

Звал меня — «поскорее, посмелее!» — с ним вместе завтракать.

Ему, студенту истфака МГУ, надо было ехать на занятия, в старое здание университетское, милое каждому москвичу, в центре, на Моховой.

Я проходил по широкому коридору в ванную комнату, умывался, потом, на зов Димин, сквозь звон посуды на столе, сквозь пение чайника на плитке, сквозь оболочку смущения своего пройдя, заходил на кухню.

Чувствовал я себя здесь, в гостях, в московской квартире, непохожей на все другие, которые мне приходилось видеть, довольно скованно.

Стеснялся что-нибудь сделать или сказать не так.

Напрягался все время. Старался не показывать виду, что я существую в сплошном напряжении. Не знаю, насколько это у меня тогда получалось.

Но ко мне все домашние Димины, тактичные люди, воспитанные, участливые, внимательные, относились, я видел, приветливо.

И это меня успокаивало.

Димины мать, красивая, еще молодая, статная, в кружевной свободной рубашке, лежа читала книгу в уютной родительской спальне.

Бабушка, странноватая, какая-то желтолицая, с Кавказа, что ли, была задумчивой, тихой, спокойной.

Димин отец, серьезный, с выразительным, крепко вылепленным лицом, с густой шевелюрой, был по-своему добр ко мне.

Дима был похож на него.

Что-то восточное в облике.

Густые, курчавые волосы на горделиво поднятой, с высоким лбом, голове — и почти, почему-то, полное отсутствие столь же густой растительности на лице, так, немного щетины, которую слишком легко, при малейшем желании, сбрить.

В дальнейшем узнал я, что Димин отец, с такой необычной внешностью и повадками, был из среды староверов.

Димины мать была, как сказали мне позже, казачкой.

В квартире борисовской все, на что ни помотришь, сияло поразительной чистотой.

Все находилось в ней на своем, узаконенном, четко определенном месте.

Все здесь блестело, мерцало, вспыхивало, светилось, лучилось разнообразными проявлениями великого домашнего божества — всевластного, ясного света.

Ни единой пылинки вокруг.

Полы во всех помещениях натерты были не просто старательно, хорошо, но до зеркального блеска.

Дверные ручки сверкали яркими желтыми бликами.

Посуда на кухне стояла, вычищенная до лунного и солнечного свечения.

Везде в этих дивных покоех преобладали ровные, мягкие, не раздражающие глаз хозяйский цвета, без лишних полутонов: коричневатый, голубоватый, зеленоватый, белый.

За окнами — шел снег.

Дима пришел с занятий домой непривычно рано, взбудораженный, озадаченный, раздосадованный донельзя, — это надо же, что за бред, и представить себе не мог, что такое однажды случится, но случилось ведь, вот беда, это факт, задевал куда-то свою записную книжку.

Искал ее долго, везде.

Рылся в грудах бумаг и книг, смотрел на столе, под столом, во всех углах, под тахтой, в портфеле, во всех карманах, шарил на книжных полках, выдвигал, один за другим, ящики из стола.

Вытарачивал, округлив их, карие, с огоньком упрямым внутри, глаза из-под тяжелых очков, кудрявые темные волосы шевелились и развевались, как от свежего ветерка, при его порывистых, резких, торопливых, нервных движениях:

— Где же она? Ведь в ней — вся моя эрудиция!

Нашел наконец, успокоился.

Рассмеялся: ну и дела!

Записная книжка лежала преспокойно — на видном месте.

Подержал ее Дима в руках.

Положил в карман пиджака.

Присел на тахту. Закурил.

Я спросил его, улынувшись:

— Неужели здесь, в этой книжке записной, — вся твоя эрудиция?

Он ответил, тоже с улыбкой:

— Нет, конечно! Ты сам понимаешь, что это совсем не так. Просто я, впопыхах, сгоряча, неуклюже, увы, пошутил.

Я привез с собой много всяких скромных, но вкусных гостинцев.

Банку варенья вишневого. Банку варенья особого, замечательного, абрикосового, с ядрышками из косточек в золотистой, сладчайшей массе. Банку варенья клубничного. Яблочное повидло. Цукаты. Орехи грецкие. Чудесные наши «синенькие» — синие баклажаны. И прочее, что для Борисовых передали мои родители.

Борисовская семья с удовольствием явным пробовала домашние, украинские, отборнейшие продукты, и нахваливала их, и тут же воздавала хвалу моим сотворившим такое чудо родителям, ну а также и щедрым на урожаи нашим степным краям.

Я прилетел в Москву, как уже говорил я выше, для того, чтобы здесь подольше побыть зимой, самолетом.

Налегке. Ну, почти налегке. Удалось ненадолго вырваться.

И вот — встречаюсь с друзьями.

Да еще и, по доброте душевной Диминой редкостной, получил возможность пожить, пусть и недолго, но все-таки с возможностью пообщаться, наговориться всласть, у самого, для меня, значительного из всех московских друзей и приятелей.

Голос у Димы Борисова — баритон, с басовыми нотками иногда, густой, с модуляциями.

Порой, как в тирольских песнях, что-то по-птичьи щелкает у него глубоко в горле, и он берет выше октавой какую-нибудь мелодию.

Поет хорошо. Причем, что важно, очень по-своему.  
Если поет Борисов — узнаешь сразу его.  
Играет на фортепиано.  
Иногда мы садимся вдвоем за инструмент, играем, вдохновенно, в четыре руки.  
В музыке Дима — дома.  
Как это мне знакомо!  
Музыке Дима — друг.  
(СМОГ. Магический круг.)

Дима очень начитан.  
Образован — и это чувствуется в беседе любой — всерьез.  
Учится на истфаке в МГУ. Собирается стать историком. Тоже — всерьез.  
Много и продуктивно читает. Память — прекрасная.  
Все абсолютно помнит. Спросишь — тут же ответит.  
Про таких людей говорят: ходячая энциклопедия.  
Знания — были. Свидетельствую.  
Знания — настоящие.  
Димино чтение — труд.  
Постоянный. Нужный. Огромный.  
Понимает Дима поэзию — несравнимо лучше других.  
Тогда, в шестьдесят четвертом, так мне однажды сказал:  
— Если бы не было вовсе Мандельштама в русской поэзии, я бы любил Блока.  
Мне сказал:  
— С каждым годом ты будешь писать все лучше и лучше.  
Через четырнадцать лет Дима сказал мне так:  
— Лучше твоих стихов ничего я сейчас не знаю.  
Верить ему, Борисову, не можно было, а нужно.  
Знал он — что говорит.

В доме полно самиздата.  
Мандельштам, Гумилев, Заболоцкий, Хармс, Введенский, Олейников, Цветаева,  
Пастернак, Ахматова, Ходасевич.

И прочее. Не сосчитать, сколько всего. Много. Так скажу, понаивней, попроще, для доходчивости, потому что по тем временам всего самиздатовского добра, интересного для меня, важного, необходимого, для тогдашнего, полудомашнего, продуктивного, даже очень, привычного, закономерного, самообразования и, конечно же, для души здесь было действительно много.

И я читаю, читаю, много, целыми днями.

Дима как раз, для себя и для друзей своих, вечерами перепечатывает недавно совсем появившийся в поле зрения пятитомник Мандельштама, только стихи, на половинках листа.

Листки бумаги для пишущих машинок сгибает вдвое, разрезает, в стопочку складывает в стороне, на краю стола, перекладывает копиркой, отдельными, по четыре экземпляра, закладками, чтобы работа быстрее шла, потом начинает печатать.

Выходит все у него более чем аккуратно.

Какой экземпляр ни возьми — текст хорошо читается.

Трудится Дима. На совесть. Как и всегда. Старается.

Машинка быстро стрекочет. Словно цикада. Зимняя.

Заготовленная заранее бумага слегка шелестит.

Лампа горит настольная над страницами со стихами.  
Снегопад обильный в столице. А в квартире тепло, уютно.  
За окном темно-синим — холодно, пустынно, белым-бело.

Все-таки я смущаюсь, оттого что, пускай и временно, да все-таки здесь, в борисовской квартире, в семье, присутствую, обитаю, чужак, пришелец, человек посторонний, странный, и, может быть, этим самым нарушаю невольно привычный для них уклад или ритм существования, прочного, размеренного, надежного, привношу напряжение некое в быт, в общение их меж собою, и так далее, — мало ли что мне приходит порою в голову ежедневно, — так уж устроен, — быть обузой не желаю, даже в аховых ситуациях, даже в бедах, ни для кого.

Порываюсь это сказать, иногда, откровенно, Диме.  
Говорю. И тут же гадаю — поймет ли меня он правильно?

Дима — все понимает верно.

Пресекает мои сомнения.

Все в порядке. В семье мне рады.

Я стараюсь привыкнуть к мысли, что здесь я действительно свой. Непривычно провинциалу такое осознавать. Говорю: ничего, мол, скоро будет свободна комната на Автозаводской, и я переберусь туда.

Дима и все домашние дружно меня успокаивают: все нормально, все хорошо!

Все они так со мной приветливы, так добры ко мне, что смущение и сомнения исчезают.

Москвичи. Хорошие люди. Просто чудесные люди.

Интеллигентная, крепкая, с традициями, семья.

Дима, все понимая, что в душе у меня происходит, особенно добр и внимателен, подчеркнуто, принципиально, совершенно естественно, искренне, и по-дружески, потому, что мы с ним действительно дружим, и потому еще, что я для него поэт, в которого верит он твердо, и это особенно важно для меня, внимателен так, что внимательность эта станет с годами необходимостью, и его, а не чье-нибудь, мнение о стихах моих будет решающим для меня, внимателен пристально, словно чувствуя там, в грядущем, путь мой трудный и рост духовный посреди бесчасья, ко мне.

И застенчивость провинциальная моя постепенно проходит.

Снова я уверен в себе. И в поступках своих. И в словах.

Дима этому очень рад.

Мы подолгу с ним говорим.

И беседы наши, неспешные, откровенные и серьезные, словно нити духовные прочные, протянутся сквозь года, чтоб остаться в душе навсегда.

И все это — я запомню.

И все это вижу и ныне, отчетливо, так, словно прямо сейчас это происходит.

И не только это, но — многое...

И я поехал из центра к себе, на восток столицы, в тихое Новогиреево — с ясной своей памятью о прошлом, таком далеком и доселе близком таком, с печалью в душе, не желающей стареть, несмотря на возраст, полынный, седой, немалый, увы, и с тяжелым сердцем.

...В августе девяносто седьмого, в жаркую пору, когда над холмами стоит полупрозрачное море, и морская вода, нагретая солнцем, не освежает, и высыхают в окру-

ге травы, и жухнет листва на деревьях, и воздух становится душным, и трудно дышать, и на смену дневным цикадам с их отчаянно-громким стрекотом приходят ночные сверчки со своими тихими трелями, в киммерийской глуши, в Коктебеле, один мой знакомый, пришедший меня навестить, с собой принес газету какую-то московскую, вроде бы свежую, и оставил ее у меня.

Я стал ее перелистывать почему-то, просматривать наскоро.

И вдруг — на одной из страниц (в глазах у меня потемнело от ужаса) — некролог.

Вверху — фотография Димина.

Боже мой! Умер Димка Борисов!..

Что я тогда пережил — это, поймите правильно меня, никого не касается.

Выразить это сложно.

Видимо — невозможно.

Это — мое. Пускай остается это в душе.

И допуска посторонним туда, как видите, нет.

Есть лишь полын в ладони — да грустный вечерний свет.

Эх, Дима! Вадим Михайлович. Борисов. Старый мой друг.

Он с семьей отдыхал в Прибалтике. Где именно — я не знаю. Да это не так уж и важно. Не все ли равно теперь?

Ушел он купаться в море, один ушел, без Татьяны, без детей — почему же один? — ушел он — и не вернулся.

Долго его искали. И лишь через много дней тело его нашли.

Хоронили его — мне потом рассказали — в закрытом гробу.

Отпевали его. Друзья собрались, проводить его, в храме. Те, кто знали о том, что стряслось, те, кто были тогда в Москве.

В это время я был в Коктебеле. Ничего ни о чем не знал.

Эх, Димка! Друг мой светлейший. Дорогой для меня человек.

Он ушел — от страданий земных, от обид и болезней — в море. И остался там — на своем незримом, ранее бывшем поистине великолепным, а теперь обреченном, тонущем, давшем течь, в пучину коварную погружающемся корабле. И остался стоять на мостике своего корабля. Поступил, как положено капитану. И сомкнулось море Варяжское над курчавой, уже поседевшей, горделиво, упрямо поднятой головой его. Слава героям! Честь и доблесть. Последний парад.

Вчера, подумать ведь только, девятого февраля могло бы ему исполниться — всего пятьдесят семь лет.

Не стану я с ним прощаться.

Пусть живет он — в книгах моих.

Вспоминаю время, когда Дима вместе с Евгением Борисовичем, старшим сыном поэта, готовил к изданию сочинения Пастернака, писал статьи, составлял обширные комментарии.

В своем послесловии к «Доктору Живаго», по-моему просто замечательном, Дима Борисов совсем не случайно сказал:

— Душевное горе обостряет восприимчивость таланта. Сочувствие окружающей природы усаживает его за работу.

Вот именно. Прежде ли, ныне ли, в грядущем ли — так и со мной.

Февраль. Значительность имени. Свеча в юдоли земной.

\* \* \*

...Волшебное имя — Феллини.

Сменишь букву начальную, вдруг, ненароком, — и вот он, желанный и отзывчивый, лишь призови его, лишь оклики, он тут как тут, знает он, что его-то ждут, помнит он, что за звуком вдруг возникает уже не звук, но сопутствующий ему, а зачем, потом я пойму, не двойник, а скорее знак, да к тому же не просто так, а со смыслом, двойным, тройным, и со светом, что есть за ним, призыв, призрак, тень или образ — кто там, право, — Беллини, Челлини? — свечи, шпаги, холсты, плащи, авантюры, — ищи-свищи, если вмиг исчезает тот, кто пощады уже не ждет, если въявь побеждает вновь не трагедия, а любовь, если слов итальянских след разглядишь посреди комет, если речь посреди светил прозвучит, чтобы все простил, все постиг посреди чудес и пропал в синеве небес, все увидел, и вспомнил юг, и в земной возвратился круг, — признак таинства, призыв, ток, стук ночной, виноградный сок, призрак странный, смурная тень, образ времени, жаркий день, лунный камень, Гермес, алмаз, лотос, парусник, третий глаз, колдовство, шаманство, родство с тем, что дарит нам торжество дивной радости, ключ к судьбе.

Нет, Феллини — сам по себе.

Перлина — так говорят издревле на Украине.

То есть — жемчужина. Вот что значит слово перлина.

Феллини — почти фей-лини.

От феи, что ли? Возможно.

Феллини — Орфей (так!)-лини.

Фея. Орфей. Феллини.

Магическое звучание.

Таинственное. Феллини.

Когда это было? Когда?

В пятьдесят девятом? Возможно.

В шестидесятом году?

Неужели забыл — когда же?

Впрочем, здесь не нужна конкретика.

Важно то, что все это — было.

Важно то, что это — сбылось.

Раньше, позже ли — что с того?

Да не все ли равно теперь?

Да не все ли равно, говорю я, да не все ли равно, если — было? Было, было. Пришло. Сбылось.

Я жил тогда в Кривом Роге. В провинции. На Украине. Жил на Гданцевке — так называлось наше заречье. Когда-то называлось оно точнее и милее — Тихий Притулок. За рекою, за Ингульцом, за холмами, довольно высокими, посреди беспредельных степей, преспокойно существовал настоящий цветущий рай. И в раю этом — был наш дом. Рай был — явью. Я вырос в нем. Или — в ней? Раз уж явь, то — в ней? Рай был — сказкой. Так что верней? Рай был — всем. Был он въявь — моим. Был я светом в раю храним. С небом был я в раю на ты. Все щедроты и все мечты были тоже моими. Сон был в раю моем — вне времен. Пробуждение в раю моем было праздником. Окоем звал к себе. И сквозь птичий хор прорывался ко мне простор, весь в сиянье нового дня. Рай был таинством для меня. Был — родным. И в родстве таком был высокий

смысл. Под замком не держался мир никогда — и распахнут был навсегда. Жил я, чувствуя каждый миг всею кожей. Помимо книг, постигал все, что мог постичь.

(Ключ ли к творчеству? Плач ли? Клич?

Не скажу. Догадитесь. Речь,

дабы свет на пути сберечь,

говорит обо всем сама.

Ночь придет к вам, вроде письма.

Ночь — рабочая. Певчий труд.

Ждите писем. Как песен ждут.)

Итак, пребывал я тогда, когда-то, совсем давно, так давно, что сказать я вынужден об этом с грустью, со вздохом, но сказать непременно должен, потому что важно сказать, в отроческом еще, наивном, дерзостном возрасте. Воспринимал я мир и все, что было в нем, чутко, необычайно цепко, по-особому обостренно, как-то смело, пронзительно ясно. Вспоминаю афишу скромную. Кинофильм. Наитье с чутьем подсказали: надо пойти. Дом культуры завода «Коммунист» высился за площадью просторной, посреди которой, на коне, памятником став, Богдан Хмельницкий, вдаль, куда-то к северо-востоку, в сторону России, простирали руку с гетманской тяжелой булавою. Дом культуры, с высоченными колоннами, окнами бесчисленными, залами, светлыми тяжелыми дверьми, за которыми открытия таились, в виде книг библиотечных, вечеров, — новогодних, майских, мартовских, ноябрьских, с танцами на блещущем паркете празднично-громоздкого фойе, встречами негладкими, счастьем от того, что вхожу в это чудо, с героинями нешуточных романов, начинавшихся порою здесь и здесь же завершавшихся, но требовавших снова продолженья, — в виде музыки, звучащей, но и зримой, в виде новых кинофильмов и концертов, — я воспринимал как храм культуры. Здесь же, в доме-храме, в кинозале, шел сегодня итальянский фильм...

И вот на улицу я вышел — после вечернего сеанса. Я смотрел, в каком-то трансе пребывая, «Ночи Кабирии». Мир стал объемней вдруг, в нем обнаружилось иные измерения и новые, негладкие грани. Как будто шар прозрачный раскрутили в пространстве. Круговертью времена прошли и возвратились, чтоб опять уйти во мглу и тут же возвратиться, открыться мне, остаться навсегда со мною, стать моими, быть со мной везде, стоять за гулкой тишиной, деревья задевая, чтоб сиять над кровлями, отбрасывая вспять окрестные густые огоньки, покуда влагой веет от реки, покуда речь не пробудится вдруг, чтоб выразить однажды все вокруг...

Я шел домой — нет, брел я под дождем, — весной иль осенью? — неважно! — потрясенный.

И музыка звучала Нино Рота, во мне звучала, в сердце у меня, поистине волшебная. Звучит она и ныне в нем, звучит всегда.

И виделась повсюду мне Джульетта Мазина. Это надо же — Джульетта! Какая же актриса это, Боже! Мечта и явь, со сказкою жестокость бездушной повседневности сразились в глазах ее за правду на земле, преобразились — и легендой стали, чтоб исподволь прибавили печали душе моей. Искусства чудеса явились мне. Разъялись небеса — и вспыхнуло за призрачною гранью над городом блаженное сияние...

Все это было слишком уж давно?

Живет и ныне в памяти оно.

Потом, уже позже, но все же, по счастью, была «Дорога», в шестьдесят четвертом, наверное, но была, хорошо, что была.

В шестьдесят шестом, в ЦДЛ, который штурмом брала толпа горожан, желающих увидеть шедевр Феллини, мистический и магический, как все тогда говорили вокруг, — «Джульетта и духи». И в том же году, нежданно, в кинотеатре «Форум» на Са-

довом кольце, среди гула сплошного автомобильного за наплывами зыбкого, сизого воркования голубинового, посреди милицейских кордонов и безмолвных окрестных стен, в кинотеатре, который тоже был взят огромной толпой, с бою, штурмом, — заветные «8 1/2». Потом — остальное.

Но вначале, тогда, впервые, — были «Ночи Кабирии». Образ, многогранный, плещущий светом, аметистовой друзе подобный, укрупнялся в сознании, таял, с ворожкой уходил в зазеркалье, возвращался оттуда обратно, разветвлялся, рождая другие, многогранные тоже, образы, жил в единстве сущего, был со вселенной в родстве. Художник с первобытной дерзостью шел на огонь, жил подвигом, то есть был ведом кем-то свыше, чуял эту помощь, и вел за собою и меня, и всех остальных, чтобы стало все это судьбою.

Магия. Вера. Тайна.

Музыка Нино Рота.

Все, что пришло случайно.

Чаянья и щедроты.

Все, чем я жив на свете.

Речь. Любви торжество.

Строки зимние эти.

Творчество. И волшебство.

...В Змеином, безумном, неистовом, фантастическом шестьдесят пятом смогистском году, летом, в жаркую, страшную пору, когда из похмельного, тяжелого стольного града, стонавшего сразу на всех семи холмах своих от удушья, от нехватки свежего воздуха, сбегали столичные жители прочь отсюда, хотя бы за город, в лес, на волю, на дачу, дальше, в электричке или в автобусе, все равно уже, даже пешком, лишь бы ринуться хоть в подобие отдаленное тишины и прохлады, в речную воду, в пруд какой-нибудь, оказаться где-нибудь, хоть на миг, в тени, в шуме лиственном, птиц услышать наконец-то, перевести дух, попробовать оглядеться, как придется, по сторонам, и почувствовать дуновенье налетевшего ветерка, чтоб испытывать вдохновенье и уставиться в облака, или прямо на юг рвались те, кому повезло, счастливицы, к морю, в Крым, на Кавказ, к горам, к пляжам, винам и всем дарам южной, щедрой всегда, природы, буйной, дикой, хмельной свободы от всего, что томило всех, от чего убежать не грех, пусть на время, на месяц, пусть, будет помниться наизусть эта вылазка, этот путь, эта, лета и света, суть, — в эту самую пору, когда восходила моя звезда в небе синем, сквозь козни зноя, и не знал я, что впредь со мною будет в грозной моей стране, где хватало тогда вполне сил и средств, чтоб меня стереть в порошок, чтобы вдруг сгореть и в отчаянье не блажить, и до боли хотелось жить, — режиссер итальянский великий, Федерико Феллини, приехал в Москву, на международный фестиваль киношный, приехал прямо в ад, в бестолковый край, в православный старинный рай, с куполами церковей, с листвой, пыльной, вялою, но живой, самоварным дымком сквозь мглу, тенью Гоголя на углу каждом, Пушкиным с фонарями и матрешками с голубями.

Он привез в Москву фильм свой, «8 1/2». «Милости просим!» — было сказано тем, кем надо, кто был главным среди распада.

Остановился Феллини, прославленный мэтр, в самом центре столицы, ему неизвестной, но достаточно интересной, в гостинице знаменитой, называвшей тоже — «Москва».

И вдруг заявил Феллини, что прямо сейчас, немедленно, вынь да положь, и все тут, и нечего возразить на это, и крыть-то нечем, и вывернуться невозможно, потому

что просьба маэстро не вписывалась ни в какие привычные, скромные рамки и всех застала врасплох, а в такой ситуации сложной надо марку держать, видит Бог, но как, никому не известно, вот какая выходит песня, вот какая оказия, право, до чего ведь доходит слава, до чего доводят страдания, где найти сейчас оправдание всем гонениям и мерам крайним, всем словам сгоряча, случайным, по приказу, оттуда, сверху, им-то что, в Кремле, на поверку оказавшимся чушью просто, здесь, где Ангелов нынче со сто, ну а демонов нет в помине, нет, и баста, и нет отныне безобразий, и горя нет, есть сплошной, бесконечный свет, очень хочет видеть смогистов, а кого их них именно — это Алейникова и Губанова.

Требование, не просьбу, так точнее, ну что тут попишешь, итальянского режиссера следовало уважить.

Шустрые люди из всяческих, не совсем понятных, но все же соответствующих чему-то и кому-то, поди гадай, что за этим кроется, служб кинулись нас искать.

В Москве нас в то время не было.

Я, изгнанный из-за СМОГа из МГУ, находился на Тамани, в археологической, так уж вышло тогда, экспедиции.

Губанов — лежал в психушке.

Нашли довольно легко единственного на ту пору, из всего содружества нашего прославленного, смогиста, оказавшегося в столице, а верней, в подмосковном, тихом и достаточно скромном Климовске, — разумеется, Колю Мишина.

Заявились к нему домой.

Приказали быстрее собраться.

Объяснили, куда везут.

Привезли — прямиком к Феллини.

Поздоровался Мишин с Феллини деловито, спокойно, просто, словно был с ним лет сто знаком.

— Добрый день! Ну вот, я пришел.

Режиссер поздоровался с ним удивленно, довольно сдержанно.

— Добрый день! — сказал режиссер, не по-русски, по-итальянски.

Мишин руку ему пожал.

По-простецки. Но — как-то творчески.

Так, чтоб видели все вокруг: человек пришел — непростой. Чай, не с улицы. Парень климовский?

Ну и что? Да зато — смогист.

Так-то. В жизни — большой артист.

Ничего, все еще узнают, кто пожаловал к ним сейчас.

В жизни всякое с ним бывает. Что ж, пробьемся. Не в первый раз.

И сказал, пожимая руку режиссеру, пришедший смогист:

— Николай Лукьянович Мишин!

И ответил ему режиссер, пожимая руку:

— Феллини!

— Знаю, знаю! — промолвил Мишин.

— Что вы знаете? — удивился озадаченный режиссер.

— Вы — Феллини! — отвечивал Мишин.

— Я — Феллини! — кивнул режиссер.

— Гений! — коротко бросил Мишин. — Ваши фильмы я видел. Не все. Посмотрю остальные, надеюсь. Но и так все понятно: гений.

(Здесь придется сказать мне вот что.  
Говорил-то Мишин — по-русски.  
А Феллини — по-итальянски.  
Переводчики — переводили.  
Но — бывают ведь чудеса.  
Почему-то Феллини с Мишиным понимали друг друга прекрасно, с полуслова, без переводчиков.

Будто оба они говорили на своем языке, особом, непонятном для окружающих.  
Неужели такое — бывает?  
Уверял меня Мишин — бывает.  
Далеко не всегда. Иногда.  
Речь — пласты временные взрывает.  
Ничего для души — не скрывает.  
Открывается — навсегда.)

— Вы смогист? — спросил режиссер.  
— Я смогист! — отвечивал Мишин.  
— Вы один? — спросил режиссер.  
— Я один! — отвечивал Мишин.  
— Почему? — спросил режиссер.  
— Потому! — отвечивал Мишин.  
— Не пойму! — сказал режиссер.  
— Ничего! — отвечивал Мишин.

И развел руками Феллини.  
Покачал головой. Подумал.  
Ждал — двоих он смогистов. Главных.  
Почему-то — пришел один.  
Кто такой? Ничего не понять.  
Да, наверное, и не надо.

Может, в самом деле не следует ничего понимать в стране, где желаешь увидеть двоих, интересных ему, смогистов, а ведут к тебе лишь одного, да и то неизвестно кого.

Коля, парень сметливый, находчивый, прямо с места в карьер, прочитал свое коронное, броское, смогистское стихотворение, начинавшееся загадочно:

— Не надо памятник меня!..

Для Феллини, с трудом, с усилием, переводчики, расстаравшись, даже взмокнув, перевели этот странный поистине текст.

Режиссер, перевод послушав краем уха, взмахнул руками. Он опешил. Он — изумился. И спросил:

— Почему — не надо?

— Да не надо, и все! — махнул артистичной своей рукой парень климовский шустрый, смогист, представитель содружества славного, между прочим, запомните, Мишин. — Без памятника обойдусь. Жизнь — она вон какая, сами знаете, интересная.

Федерико Феллини пристально посмотрел на него и сказал:

— Будете, предрекаю вам я сейчас, человеком-театром.

Что и сбилось, представьте и поверьте мне сразу же, вскоре.

В номер к Феллини зашла, поигрывая глазищами, высокая, стройная, статная актриса Софи Лорен.

Мишин с ней познакомился.

Представился ей:

— Николай!

Актриса взглянула на Мишина и томно сказала:

— Софи!

Мишин ей поклонился.

Ручку поцеловал.

Актриса вмиг расцвела.

Мишин ей подмигнул.

Мол, знай, итальянка, наших!

Мы, смогисты, ребята бывалые!

С нами всюду не пропадешь!

И тем более — здесь, в Москве.

В самом центре Союза нашего.

Здесь, Софи, мы видали виды!

Софи Лорен улыбнулась, что-то сказала Феллини, по-итальянски, конечно, так, что Коля Мишин, увы, толком так ничего и не понял, улыбнулась опять — и вышла, как видение мимолетное, словно сон какой-то, из номера.

Коля Мишин снова остался с Феллини наедине.

Ежели не считать переводчиков, то и дело поглядывавших то на Мишина, то на Феллини, и некоторых, обозначим их кратко, других, незаметных, но напряженных, ведь на службе находятся, граждан.

— А где Владимир Алейников? А где Леонид Губанов? — спросил Феллини у Мишина. — Я слышал недавно в записи, как поэт Владимир Алейников читает свои стихи. Это прямо-таки потрясающе! Я видел в прессе различные фотографии этого русского, стихи свои людям читающего, молодого совсем поэта. Я хочу, да, хочу снимать его, будет здорово это, в кино. Может быть, в роли Орфея!

— Алейников нынче в отъезде, — скромно ответил Мишин.

— Я слышал запись Губанова. И видел его фотографии. И его я хочу снимать. Ох, эти двое русских, молодые эти ребята! Какие лица! Какие глаза! Какие стихи!.. О! Где эти люди? Где? Bravo, СМОГ! И еще раз — bravo!

— Губанов тоже в отъезде, — солидно, лишь с блеском в глазах, сказал ему Коля Мишин. — В творческой командировке.

— Когда же они вернутся — Алейников и Губанов? — спросил Феллини у Мишина.

— Не скоро! — вздохнул, показав глазами на граждан в штатском и на переводчиков, Мишин.

Феллини был огорчен.

— Когда же я их увижу? Успею ли я их увидеть? Алейников — это Орфей. Алейников — это гений. Губанов, его соратник, — может быть, Амфион. Я хочу снимать их в кино. Я стихи их услышать хочу — прямо с голоса. И поскорее. Разве трудно их разыскать?

— Очень трудно! — ответил Мишин. — Понимаете ли, маэстро, и Алейников, и Губанов — люди, в общем-то, занятые. Каждый день у любого из них поминутно расписан. Встречи. Интервью. Но прежде всего и, что очень важно понять, во главе-то угла у них, у друзей моих, — труд. Работа. Вот и трудятся. Днем и ночью. Пишут, пишут. Словом, творят. Создают, и частенько, шедевры. А потом — их читают. Везде. И сейчас вот они почитали бы. Только где ж их найдешь? Работают. Лето все проведут в трудах.

- Что такое — глава угла? — озадачился вдруг Феллини.
- Выражение есть такое, — с напряжением ответил Мишин. — Говорят у нас так. Привыкли. Во главе угла. Голова. Ну, в углу. Как, допустим, Ленин.
- Так, понятно! — сказал Феллини. — Голова в углу — это Ленин. А сама голова угла? Где она? Где, допустим, ноги?
- Понимаете, это тайна! — осторожно ответил Мишин. — Разглашать ее мне нельзя. Государственная. Большая.
- Голова в углу — это Ленин, — огорченно сказал Феллини. — Где Алейников? Он в отъезде. Где Губанов? В командировке. СМОГ без этих двоих — не СМОГ. Фильм я, видно, уже не сниму. Лето — время большой работы для поэтов. Странно, но так. СМОГа нет — и вроде бы есть. Во главе угла — только тайна. Государственная притом.
- Совершенно верно, маэстро! — поддержал его Мишин. — У нас все совсем не так, как в Италии. Здесь Россия. Здесь все по-своему. Иностранцам — трудно понять. Понимают — совсем немногие. Но зато уж так понимают, что, надолго запоминают — что к чему у нас и зачем.
- Да, не надо, — сказал Феллини.
- Что не надо? — не понял Мишин.
- Что не надо? Конечно, памятник. Тот. Меня. Во главе угла.

Так сидели они вдвоем, режиссер Федерико Феллини и грядущий наш драматург, Николай Лукьянович Мишин, представитель смогистов, поэт, весельчак, человек-театр, — так сидели они вдвоем, жарким летом, в центре столицы, и беседовали неспешно.

И лежал в психушке — Губанов.

И работал я — в экспедиции, на Тамани, в поте лица. Потому что сказано было: во главе угла у меня — труд. Работа. Планида такая.

Лето я проводил — в трудах.

Не пришлось познакомиться мне с Федерико Феллини. А мог бы.

Но зато познакомился с ним — Коля Мишин. Вместо меня.

Сорок лет почти вспоминал неустанно Мишин об этом.

Вспоминать ли и мне теперь все, что было тем давним летом?

...Вновь — дорога. Звучи, труба!

Вспоминайся, как есть, судьба.

Путь сквозь мглу — и духовный путь.

Пониманье эпохи. Суть.

Постиженье. Стремление — ввысь.

Вот и свечи в ночи зажглись.

Продолженье традиций. Новь.

Явь и правь. И — сплошная кровь.

Свет в окошке. Семь звезд Ковша.

Все, чем в мире жива душа.